



**Чарльз Диккенс**  
**Колокола**

Серия «Рождественские повести»

*Кудрявцев Г.Г.*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=132214](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=132214)*

# Содержание

Первая четверть	4
Вторая четверть	39
Третья четверть	70
Четвертая четверть	100

# Чарльз Диккенс

## КОЛОКОЛА

### *Рассказ о Духах церковных часов*

## Первая четверть

Немного найдется людей, – а поскольку желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем, я прошу отметить, что свое утверждение отношу не только к людям молодым или к малым детям, но ко всем решительно людям, детям и взрослым, старым и молодым, тем, что еще тянутся кверху, и тем, что уже растут книзу, – немного, повторяю, найдется людей, которые согласились бы спать в церкви. Я не говорю – в жаркий летний день, во время проповеди (такое иногда случалось), нет, я имею в виду ночью и в полном одиночестве. Я знаю, что при ярком свете дня такое мнение многим покажется до крайности удивительным. Но оно касается ночи. И обсуждать его следует ночью. И я ручаюсь, что сумею отстоять его в любую ветреную зимнюю ночь, выбранную для этого случая, в споре с любым из множества противников, который

захочет встретиться со мною наедине на старом кладбище, у дверей старой церкви, предварительно разрешив мне – если требуется ему лишний довод – запретить его в этой церкви до утра.

Ибо есть у ночного ветра удручающая привычка рыскать вокруг такой церкви, испуская жалобные стоны, и невидимой рукой дергать двери и окна, и выискивать, в какую бы щель пробраться. Проникнув же внутрь и словно не найдя того, что искал, а чего он искал – неведомо, он воет, и причитает, и просится обратно на волю; мало того, что он мечется по приделам, кружит и кружит между колонн, задевает басы органа: нет, он еще взмывает под самую крышу и норовит разнять стропила; потом, отчаявшись, бросается вниз, на каменные плиты пола, и ворча заползает в склепы. И тут же тихонько вылезает оттуда и крадется вдоль стен, точно читая шепотом надписи в память усопших. Прочитав одни, он раздражается пронзительным хохотом, над другими горестно стонет и плачет. А послушать его, когда он заберется в алтарь! Так и кажется, что он выводит там заунывную песнь о злодеяниях и убийствах, о ложных богах, которым поклоняются вопреки скрижалям Завета – с виду таким красивым и гладким, а на самом деле поруганным и разбитым. Ох, помилуй нас, господи, мы тут так уютно уселись в кружок у огня. Поистине страшный голос у полночного ветра, поющего в церкви!

А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ре-

вет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покособившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них незначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень, – вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведаю рассказ.

То были очень старые колокола, уж вы мне поверьте. Когда-то давно их крестили епископы<sup>1</sup>, – так давно, что свидетельство об их крещении потерялось еще в незапамятные

---

<sup>1</sup> *Когда-то давно их крестили епископы...* – Обычай давать новым колоколам имена существовал в старину и в России.

времена и никто не знал, как их нарекли. Были у них крестные отцы и крестные матери (сам я, к слову сказать, скорее отважился бы пойти в крестные отцы к колоколу, нежели к младенцу мужского пола), и, наверно, каждый из них, как полагается, получил в подарок серебряный стаканчик. Но время скосило их восприемников, а Генрих Восьмой переплавил их стаканчики<sup>2</sup>; и теперь они висели на колокольне безыменные и бесстаканные.

Но только не бессловесные. Отнюдь нет. У них были громкие, чистые, залиvistые, звонкие голоса, далеко разносившиеся по ветру. Да и не такие робкие это были колокола, чтобы подчиняться прихотям ветра: когда находила на него блажь дуть не в ту сторону, они храбро с ним боролись и все равно по-царски щедро дарили своим радостным звоном каждого, кому хотелось его услышать; известны случаи, когда в бурную ночь они решали во что бы то ни стало достигнуть слуха несчастной матери, склонившейся над больным ребенком, или жены ушедшего в плавание моряка, и тогда им удавалось наголову разбить даже северо-западного буяна, прямо-таки расколошматить его, как выражался Тоби Вэк; ибо, хотя обычно его называли Трухти Вэк, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переименовать его (кроме как в Тобиаса) без особого на то постановления парламента:

---

<sup>2</sup> ...Генрих Восьмой переплавил их стаканчики. – При Генрихе VIII (1509—1547) Англия отказалась признавать власть папы римского и король стал официально «главою церкви». В Англии было закрыто несколько сот монастырей и конфисковано несметное количество церковного имущества.

ведь в свое время над ним, так же как над колоколами, совершили по всем правилам обряд крещения, пусть и не столь торжественно и не при столь громких кликах народного ликования.

Должен признаться, что я лично разделяю суждение Тоби Вэка – уж кто-кто, а он-то имел полную возможность составить себе правильное суждение на этот счет. Что утверждал Тоби Вэк, то утверждаю и я. И я всегда готов постоять за него, хотя стоять-то ему приходилось, да еще целыми днями (и очень тоскливое это было занятие) как раз перед дверью церкви. Дело в том, что Тоби Вэк был рассыльным, и именно здесь он дожидался поручений.

А каково дожидаться в таком месте в зимнее время, когда тебя просвистывает насквозь, и весь покрываешься гусиной кожей, и нос синеет, а глаза краснеют, и стынут ноги, и зуб на зуб не попадает, – это Тоби Вэк знал как нельзя лучше. Ветер – особенно восточный – налетал из-за угла с такой яростью, словно затем только и принесся с того конца света, чтобы поизмываться над Тоби. И нередко казалось, что он сторяча проскакивал дальше, чем следует, потому что, выметнувшись из-за угла и миновав Тоби, он круто поворачивал обратно, словно восклицая: «Ах, вот он где!» – и тот же час куций белый фартук Тоби вскидывало ему на голову (так задирают курточку напроказившему мальчишке), жиденькая тросточка начинала беспомощно трепыхаться в его руке, ноги выписывали самые невероятные кренделя, а всего Тоби,



накренившегося к земле, крутило то вправо то влево, и так швыряло и било, и трепало и дергало, и мотало и поднимало в воздух, что еще немножко – и показалось бы настоящим чудом, почему он не взлетает под облака – как то бывает иногда со скопищами лягушек, улиток и прочих легковесных тварей – и не проливается дождем, к великому удивлению местных жителей, на какой-нибудь отдаленный уголок земли, где в глаза не видали рассыльных.

Но ветреные дни, хотя Тоби в эти дни и доставалось так немилосердно, все же были для него почти праздниками. Честное слово. Ему казалось, что в такие дни время идет быстрее и не так долго приходится ждать шестипенсовика; когда он бывал голоден и удручен, необходимость бороться с озорной стихией развлекала его и подбадривала. Мороз или, скажем, снег – это тоже было для него развлечение; он даже считал, что они ему на пользу, хотя в каком именно смысле на пользу, это он вряд ли сумел бы объяснить. Но так или иначе, ветер, мороз и снег, да еще, пожалуй, хороший крупный град приятно разнообразили жизнь Тоби Вэка.

Мокреть – вот что было хуже всего, – холодная, липкая мокреть, которая окутывала его, точно отсыревшая шинель, – другой шинели у него и не было, а без этой он предпочел бы обойтись! Мокрые дни, когда с неба неспешно и упорно сеял частый дождь, когда улица, так же как Тоби, давилась и захлебывалась туманом; когда от бесчисленных зонтов валялся пар и, сталкиваясь на тесном тротуаре, они кружились,

точно волчки, прыская во все стороны ледяными струйками; когда вода бурлила в сточных канавах и шумела в переполненных желобах; когда с карнизов и выступов церкви кап-кап-капало на Тоби и тонкая подстилка из соломы, на которой он стоял, мгновенно превращалась в грязное месиво, – вот это были поистине тяжелые дни. Тогда-то, и только тогда, можно было увидеть, как мрачнело и вытягивалось лицо у Тоби, тревожно выглядывавшего из своего укрытия в уголке церковной стены – укрытия до того жалкого, что тень, которую оно летом отбрасывало на залитую солнцем панель, была не шире тросточки. Но стоило Тоби, отойдя от стены, раз десять протрусить взад-вперед по тротуару, чтобы немножко согреться, как он, даже в такие дни, снова веселел и повеселевший возвращался в свое убежище.

Трухти его прозвали за его любимый аллюр, усвоенный им для большей скорости, хотя и не дававший ее. Шагом он, возможно, передвигался бы быстрее; даже наверно так; но если бы отнять у Тоби его трусцу, он тут же слег бы и умер. Из-за нее он в мокрую погоду бывал весь забрызган грязью; она причиняла ему уйму хлопот; ходить шагом было бы ему несравненно легче; но отчасти поэтому он и трусил рысцой с таким упорством. Щуплый, слабосильный старик, по своим намерениям Тоби был настоящим Геркулесом. Он не любил получать деньги даром. Мысль, что он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла ему огромное удовольствие, а отказываться от удовольствий при его бедности было ему не по

средствам. Когда в руки ему попадало письмо или пакет, за доставку которого он получал шиллинг, а то и полтора, его мужество, и без того не малое, еще возрастало. Он пускался трусить по улице, покрикивая быстроногим почтальонам, шагавшим впереди, чтобы они посторонились, ибо он свято верил, что непременно, рано или поздно, нагонит их, а потом и обгонит; и столь же твердо было его убеждение – не часто, впрочем, подвергавшееся проверке, – что он может донести любую тяжесть, какую вообще способен поднять человек.

Итак, даже выбираясь из своею уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов; согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озябшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помешались в общей зале, – Тоби трусил и трусил. И сходя с панели на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой.

Последнее из упомянутых передвижений Тоби совершал по несколько раз на дню: ведь колокола были его друзьями, и когда он слышал их голоса, ему всегда хотелось взглянуть на их жилище и подумать о том, как их там раскачивают и какие по ним бьют языки. Может, они еще потому его так интересовали, что было между ними и им самим много об-

щего. Они висели на своем месте в любую погоду, под дождем и ветром; окружающие церковь дома они видели только снаружи; никогда не приближались к жаркому огню каминов, бросавшему отблески на оконные стекла и клубами дыма вырывававшемуся из труб; и могли только издали поглядывать на разные вкусные вещи, которые хозяева и мальчишки из магазинов знай вручали толстым кухаркам то с парадного хода, то во дворике у кухонной двери. В окнах появлялись и снова исчезали лица – иногда красивые лица, молодые, приветливые, иногда наоборот, – но откуда они появляются и куда исчезают, и бывает ли хоть раз в году, чтобы обладатели этих лиц, когда шевелят губами, сказали про него доброе слово, – обо всем этом Тоби (хотя он часто раздумывал о таких пустяках, стоя без дела на улице) знал не больше, чем колокола на своей колокольне.

Тоби не был казуистом – во всяком случае, не знал за собой такого греха, – и я не хочу сказать, что когда он только заинтересовался колоколами и из редких нитей своего первоначального знакомства с ними стал сплестать более прочную и плотную ткань, то перебрал одно за другим все эти соображения или мысленно устроил им торжественный смотр. А хочу я сказать – и сейчас скажу, – что подобно тому как различные части тела Тоби, например, его пищеварительные органы, достигали известной цели самостоятельно, посредством множества действий, о которых он понятия не имел и которые, доведись ему узнать о них, чрезвычайно бы его

удивили, – так и мозг Тоби, без его ведома и соучастия, привел в движение все эти пружины и колесики, да еще тысячи других в придачу, и таким образом породил его симпатию к колоколам.

Я мог бы даже сказать – любовь, и это не было бы оговоркой, хотя далеко не точно определяло бы очень сложное чувство Тоби. Ибо он, будучи сам человеком простым, определял колокола загадочным и суровым нравом. Они были такие таинственные – слышно их часто, а видеть не видно; так высоко было до них, и так далеко, и такие они таили в себе звучные и мощные напевы, что он чувствовал к ним какой-то благоговейный страх; и порой, глядя вверх на темные стрельчатые окна башни, он бывал готов к тому, что его вот-вот поманит оттуда нечто – не колокол, нет, но то, что ему так часто слышалось в колокольном звоне. И, однако же, Тоби с негодованием отвергал вздорный слух, будто на колокольном водятся привидения, – ведь это значило бы, что колокола сродни всякой нечисти. Словом, они очень часто звучали у него в ушах, и очень часто присутствовали в его мыслях, но всегда были у него на хорошем счету; и очень часто, заглядевшись с разинутым ртом на верхушку колокольни, где они висели, он так сворачивал себе шею, что ему приходилось лишний раз протрусить взад-вперед, чтобы вернуть ее в прежнее положение.

Этим-то он и занимался однажды, холодным зимним днем, когда отзвук последнего из ударов, только что возве-

стивших полдень, сонно гудел под сводами башни как огромный музыкальный шмель.

– Время обедать, – сказал Тоби, трусая взад-вперед мимо дверей церкви.

Нос у Тоби был ярко-красный, и веки ярко-красные, а плечи его находились в очень близком соседстве с ушами, а ноги совсем не желали гнуться, и вообще он, видимо, уже давно забыл, когда ему было тепло.

– Время обедать, а? – повторил Тоби, пользуясь своей правой рукавицей в качестве, так сказать, боксерской перчатки и колотя собственную грудь за то, что она озябла. – Нда-а.

После этого он минуты две трусил молча.

– Нет ничего на свете... – заговорил он снова, но тут же остановился как вкопанный и, выразив на лице неподдельный интерес и некоторую тревогу, стал тщательно, снизу доверху, ощупывать свой нос. Нос был пустячный, и, чтобы ощупать его, не потребовалось много времени.

– А я уж думал, он куда девался, – сказал Тоби, вновь пускаясь трусить по панели. – Нет, весь тут, сердешный. Да и вздумай он сбежать, я бы, ей-ей, не стал винить его. Служба у него в холодную погоду трудная, и надеяться особенно не на что – я ведь табак не нюхаю. Ему, бедняге, и во всякую-то погоду приходится несладко: если в кои веки и учует вкусный запах, то скорей всего запах чужого обеда, который несут из пекарни.

Мысль эта напомнила ему про другую, оставшуюся неза-

конченной.

– Нет ничего на свете, – сказал Тоби, – столь постоянного, как время обеда, и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед. В этом и состоит большое различие между тем и другим. Не сразу я до этого додумался. Интересно знать, может быть какой-нибудь джентльмен решил бы, что такое открытие стоит купить для газетной статьи? Или для парламентской речи?

Тоби, конечно, шутил, – он тут же устыдился и с укором покачал головой.

– О, господи, – сказал Тоби, – газеты и без того полным-полны открытий, и парламент тоже. Взять хоть газету от прошлой недели, – он извлек из кармана замызганный листок и поглядел на него, держа в вытянутой руке, – полным-полно открытий! Сплошные открытия! Я, как и всякий человек, люблю узнавать новости, – медленно проговорил Тоби, еще раз перегибая листок пополам и засовывая его обратно в карман, – но последнее время газеты читать – одно расстройство. Даже страх берет. Просто не знаю, до чего мы, бедняки, дойдем. Дай бог, чтобы дошли до чего-нибудь хорошего в новом году, благо он наступает!

– Отец! Да отец же! – произнес ласковый голос у него над ухом.

Тоби ничего не слышал, он продолжал трусить взад-вперед, погруженный в свои мысли и разговаривая сам с собою.

– Выходит, будто мы всегда не правы, и оправдать нас

нечем, и исправить нас невозможно, – сказал Тоби. – Сам-то я неученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на земле или нет. Иней раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раз думается, что мы здесь лишние. Бывает, до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть в нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же новый год, – сказал Тоби сокрушенно. – Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный как лев, а это не про всякого скажешь, – но что если мы и в самом деле не имеем права на новый год... что если мы и в самом деле лишние...

– Отец! Да отец же! – повторил ласковый голос.

На этот раз Тоби услышал; вздрогнул; остановился; изменил направление своего взгляда, который перед тем был устремлен куда-то вдаль, словно искал ответа в самом сердце наступающего года, – и тогда оказалось, что он стоит лицом к лицу со своей родной дочерью и смотрит ей прямо в глаза.

И какие же ясные это были глаза – просто чудо! Глаза, в которые сколько ни гляди, не измерить их глубины. Темные глаза, которые в ответ на любопытный взгляд не сверкали своенравным огнем, но струили тихое, честное, спокойное, терпеливое сияние – сродни тому свету, которому повелел быть творец. Глаза прекрасные, и правдивые, и полные на-



дежды – надежды столь молодой и невинной, столь бодрой, светлой и крепкой (хотя они двадцать лет видели перед собой только труд и бедность), что для Тоби Вэка они превратились в голос и сказали: «По-моему, какое-никакое, а все-таки право жить на земле мы имеем!»

Тоби поцеловал губы, которые возникли перед ним одновременно с этими глазами, и сжал цветущее личико между ладоней.

– Голубка моя, – сказал Тоби. – Что случилось? Я не думал, что ты сегодня придешь, Мэг.

– Я и сама не думала, что приду, отец, – воскликнула девушка, кивая головкой и улыбаясь. – А вот пришла. Да еще и принесла кое-что.

– Это как же, – начал Тоби, с интересом поглядывая на корзинку с крышкой, которую она держала в руке, – ты хочешь сказать, что ты...

– Понюхай, милый, – сказала Мэг. – Ты только понюхай!

Тоби на радостях уже готов был приподнять крышку, но Мэг проворно отвела его руку.

– Нет, нет, нет, – сказала она, веселясь, как ребенок. – Надо растянуть удовольствие. Я приподниму только краешек, са-амый краешек, – и она так и сделала, очень осторожно, и понизила голос, точно опасаясь, что ее услышат из корзинки. – Вот так. Теперь нюхай. Что это?

Тоби всего разок шмыгнул носом над корзинкой и воскликнул в упоении:

– Да оно горячее!

– Еще какое горячее! – подхватила Мэг. – Ха-ха-ха! С пылу с жару!

– Ха-ха-ха! – покатился Тоби и даже подрыгал ногой. – С пылу с жару!

– Ну, а что это, отец? – спросила Мэг. – Ведь ты еще не угадал, что это. А ты должен угадать. Пока не угадаешь, не дам, и не надейся. Ты не спеши! погоди минутку! Приоткроем еще немножечко. Ну, угадывай.

Мэг ужасно боялась, как бы он не отгадал слишком быстро; она даже отступила на шаг, протягивая к нему корзинку; и передернула круглыми плечиками; и заткнула пальцами ухо, точно этим могла помешать верному слову сорваться с языка Тоби; и все время тихонько смеялась.

А Тоби между тем, упершись руками в колени, пригнулся носом к корзинке и глубокомысленно потянул в себя воздух; и тут по морщинистому его лицу расплылась улыбка, словно он вдохнул веселящего газа.

– Пахнет очень вкусно, – сказал Тоби. – Это не... Это часом, не кровавая колбаса?

– Нет, нет, нет! – в восторге закричала Мэг. – Ничего похожего!

– Нет, – сказал Тоби, снова принохиваясь. – Пахнет словно бы нежнее, чем кровавая колбаса. Очень хорошо пахнет. С каждой минутой все лучше. Но для бараньих ножек запах слишком крепкий. Верно?

Мэг ликовала: ничто не могло быть дальше от истины, чем бараньи ножки, – кроме разве кровяной колбасы.

– Легкое? – сказал Тоби, совещаясь сам с собой. – Нет. Тут чувствуется что-то этакое масляное, что с легким не вяжется. Свиные ножки? Нет, у тех запах слабее. А петушинные головы опять же пахнут пронзительнее. Не сосиски, нет. Я тебе скажу, что это. Это потроха!

– А вот и нет! – крикнула Мэг, торжествуя. – А вот и нет!

– Эх! Да что же это я! – сказал Тоби, внезапно выпрямляясь, насколько это было для него возможно. – Я, наверно, скоро собственное имя забуду. Это рубцы!

Он угадал; и Мэг, сияя от радости, заверила его, что таких замечательных тушеных рубцов еще не бывало на свете, – сейчас он и сам в этом убедится.

– Расстелем-ка мы скатерть, – сказала Мэг, усердно хлопоча над корзинкой. – Ведь рубцы у меня в миске, а миску я завязала в платок; и если я решила раз в жизни загордиться, и расстелить его вместо скатерти, и назвать его скатертью, никакой закон мне этого не запретит, верно, отец?

– Словно бы и так, голубка, – отвечал Тоби. – Но они, знаешь ли, то и дело откапывают новые законы.

– Да, и как сказал тот судья – помнишь, я тебе читала недавно из газеты? – нам, беднякам, все эти законы надлежит знать. Ха-ха-ха! Нужно же такое выдумать! Ой, господи, какими умными они нас считают!

– Верно, дочка! – воскликнул Тоби. – И если б кто из нас

вправду знал все законы, как бы они его жаловали! Такой человек просто разжирел бы, столько у него было бы работы, и все важные господа в округе водили бы с ним знакомство. Право слово!

– И он бы с аппетитом пообедал, если б от его обеда так вкусно пахло, – весело закончила Мэг. – Ты не мешкай, потому что тут есть еще горячая картошка и полпинты пива в бутылке, только что из бочки. Тебе где накрывать, отец? На тумбе или на ступеньках? Фу-ты ну-ты, какие мы важные! Даже выбирать можем.

– Сегодня на ступеньках, родная, – сказал Тоби. – В сухую погоду – на ступеньках. В мокрую – на тумбе. На ступеньках-то оно удобнее, потому как там можно обедать сидя; но в сырость от них ревматизм разыгрывается.

– Ну, милости прошу, – хлопая в ладоши, сказала Мэг. – Все готово. Красота, да и только. Иди, отец, иди.

С тех пор как содержимое корзинки перестало быть тайной, Тоби стоял и смотрел на дочь, да и говорил тоже, с каким-то рассеянным видом, ясно показывающим, что, хоть она и занимала безраздельно его мысли, вытеснив из них даже рубцы, он видел ее не такой, какою она была в это время, но смутно рисовал себе трагическую картину ее будущего. Он уже готов был горестно потрянуть головой, но вместо этого сам встряхнулся, словно разбуженный ее бодрым окликом, и послушно затрусил к ней. Только он собрался сесть, как зазвонили колокола.

– Аминь! – сказал Тоби, снимая шляпу и глядя вверх, откуда раздавался звон.

– Аминь колоколам, отец? – воскликнула Мэг.

– Это вышло, как молитва перед едой, – сказал Тоби, усаживаясь. – Они, если бы могли, наверняка прочитали бы хорошую молитву. Недаром они со мной так славно разговаривают.

– Это колокола-то! – рассмеялась Мэг, ставя перед ним миску с ножом и вилкой. – Ну и ну!

– Так мне кажется, родная, – сказал Трухти, с великим усердием принимаясь за еду. – А разве это не все едино? Раз я их слышу, так ведь неважно, говорят они или нет. Да что там, милая, – продолжал Тоби, указывая вилкой на колокольню и заметно оживляясь под воздействием обеда, – я сколько раз слышал, как они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби!» Миллион раз? Нет, больше.

– В жизни такого не слыхивала! – вскричала Мэг.

Неправда, слыхивала, и очень часто, – ведь у Тоби это была излюбленная тема.

– Когда дела идут плохо, – сказал Тоби, – то есть совсем плохо, так что хуже некуда, тогда они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет! Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет!» Вот так.

– И в конце концов работа для тебя находится, – сказала Мэг, и в ласковом ее голосе прозвучала грусть.

– Обязательно, – простодушно подтвердил Тоби. – Не было случая, чтобы не нашлась.

Пока происходил этот разговор, Тоби прилежно расправлялся с сочным блюдом, стоявшим перед ним, – он резал и ел, резал и пил, резал и жевал, и кидался от рубцов к горячей картошке и от горячей картошки к рубцам с неслабеющим, почти набожным рвением. Но вот он окинул взглядом улицу – на тот случай, если бы кому-нибудь вздумалось позвать из окна или двери рассыльного, – и на обратном пути взгляд его упал на Мэг, которая сидела напротив него, скрестив руки и наблюдая за ним со счастливой улыбкой.

– Господи, прости меня! – сказал Тоби, роняя нож и вилку. – Голубка моя! Мэг! Что же ты мне не скажешь, какой я негодяй?

– О чем ты, отец?

– Сижу, – стал покаянно объяснять Тоби, – ем, нажираюсь, уплетаю за обе щеки, а ты, моя бедная, и кусочка не проглотила и глядишь, точно тебе и не хочется, а ведь...

– Да я проглотила, отец, и не один кусочек, – смеясь, перебила его дочь. – Я уже пообедала.

– Вздор, – отрезал Тоби. – Пообедала и еще мне принесла? Два обеда в один день – этого быть не может. Ты бы еще сказала, что наступят сразу два новых года или что я всю жизнь храню золотой и даже не разменял его.

– А все-таки, отец, я пообедала, – сказала Мэг, подходя к нему поближе. – И если ты будешь есть, я тебе расскажу, как

пообедала, и где; и откуда взялся обед для тебя; и... и еще кое-что в придачу.

Тоби, казалось, все еще сомневался; но она поглядела на него своими ясными глазами и, положив руку ему на плечо, сделала знак поторопиться, пока мясо не остыло. Тогда он снова взял нож и вилку и принялся за еду. Но ел он теперь гораздо медленнее и покачивал головой, словно был очень собой недоволен.

– А я, отец, – начала Мэг после минутного колебания, – я обедала... с Ричардом. Его сегодня рано отпустили пообедать, и он, когда зашел навестить меня, принес свой обед с собой, ну мы... мы и пообедали вместе.

Тоби отпил пива и причмокнул губами. Потом, видя, что она ждет, сказал: «Вот как?»

– И Ричард говорит, отец... – снова начала Мэг и умолкла.

– Что же он говорит? – спросил Тоби.

– Ричард говорит, отец... – Снова молчание.

– Долгонько Ричард собирается с мыслями, – сказал Тоби.

– Он говорит, отец, – продолжала Мэг, подняв, наконец, голову и вся дрожа, но уже больше не сбиваясь, – что вот и еще один год прошел, и есть ли смысл ждать год за годом, раз так мало вероятия, что мы когда-нибудь станем богаче? Он говорит, отец, что сейчас мы бедны, и тогда будем бедны, но сейчас мы молоды, а не успеем оглянуться – и станем старые. Он говорит, что если мы – в нашем-то положении – будем ждать до тех пор, пока ясно не увидим свою дорогу, то это

окажется очень узкая дорога... общая для всех... дорога к могиле, отец.

Чтобы отрицать это, потребовалось бы куда больше смелости, чем ее было у Трухти Вэка. Трухти промолчал.

– А как тяжело, отец, состариться и умереть, и думать перед смертью, что мы могли бы быть друг другу радостью и поддержкой! Как тяжело всю жизнь любить друг друга и порознь горевать, глядя, как другой работает, и меняется год от году, и старится, и седеет. Даже если б я когда-нибудь успокоилась и забыла его (а этого никогда не будет), все равно, отец, как тяжело дожить до того, что любовь, которой сейчас полно мое сердце, уйдет из него, капля за каплей, и не о чем будет даже вспомнить – ни одной счастливой минуты, какие выпадают женщине на долю, чтобы ей в старости утешаться, вспоминая их, и не озлобиться!

Трухти сидел тихо-тихо. Мэг вытерла глаза и заговорила веселее, то есть когда смеясь, когда плача, а когда смеясь и плача одновременно:

– Вот Ричард и говорит, отец, что раз он со вчерашнего дня на некоторое время обеспечен работой, и раз я его люблю уже целых три года – на самом-то деле больше, только он этого не знает, – так не пожениться ли нам в день Нового года; он говорит, что это из всего года самый лучший, самый счастливый день, такой день наверняка должен принести нам удачу. Конечно, времени осталось очень мало, но ведь я не знатная леди, отец, мне о приданом не заботиться, подвенеч-



ного платья не шить, верно? Это все Ричард сказал, да так серьезно и убедительно, и притом так ласково и хорошо, что я решила – пойду поговорю с тобой, отец. А раз мне сегодня утром заплатили за работу (совершенно неожиданно!), а ты всю неделю недоедал, а мне так хотелось, чтобы этот день, такой счастливый и знаменательный для меня, отец, и для тебя тоже стал бы вроде праздника, я и подумала – приготовлю чего-нибудь повкуснее и принесу тебе, сюрпризом.

– А ему и горя мало, что сюрприз-то остыл! – произнес новый голос.

Чей голос? Да того самого Ричарда: ни отец, ни дочь не заметили, как он подошел, и теперь он стоял перед ними и поглядывал на них, а лицо у него все светилось, как то железо, по которому он каждый день бил своим тяжелым молотом. Красивый он был парень, ладный и крепкий, глаза сверкающие, как докрасна раскаленные брызги, что летят из горна; черные волосы, кольцами выющиеся у смуглых висков; а улыбка... увидев эту улыбку, всякий понял бы, почему Мэг так расхваливала его красноречие.

– Ему и горя мало, что сюрприз остыл! – сказал Ричард. – Мэг, видно, не угадала, чем его порадовать. Где уж ей!

Трухти немедля протянул Ричарду руку и только хотел обратиться к нему с самым горячим выражением радости, как вдруг дверь у него за спиной распахнулась и высоченный лакей чуть не наступил на рубцы.

– А ну, дайте дорогу! Непременно вам нужно рассесться

на нашем крыльце! Хоть бы разок для смеху пошли к соседям! Уберетесь вы с дороги или нет?

Последнего вопроса он, в сущности, мог бы и не задавать, – они уже убрались с дороги.

– Что такое? Что такое? – И джентльмен, ради которого старался лакей, вышел из дому той легко-тяжелой поступью, являющей как бы компромисс между иноходью и шагом, какой и подобает выходить из собственного дома почтенному джентльмену в летах, носящему сапоги со скрипом, часы на цепочке и чистое белье: нисколько не роняя своего достоинства и всем своим видом показывая, что его ждут важные денежные дела. – Что такое? Что такое?

– Ведь просишь вас по-хорошему, на коленях умоляешь, не суйтесь вы на наше крыльцо, – выговаривал лакей Тоби Вэку. – Так чего же вы сюда суетесь? Неужели нельзя не соваться?

– Ну, довольно, – сказал джентльмен. – Эй, рассыльный! – И он поманил к себе Тоби Вэка. – Подойдите сюда. Это что? Ваш обед?

– Да, сэр, – сказал Тоби, успевший между тем поставить миску в уголок у стены.

– Не прячьте его! – воскликнул джентльмен. – Сюда несите, сюда. Так. Значит, это ваш обед?

– Да, сэр, – повторил Тоби, облизываясь и сверля глазами кусок рубца, который он оставил себе на закуску как самый аппетитный: джентльмен подцепил его на вилку и поворачи-

вал теперь из стороны в сторону.

Следом за ним из дому вышли еще два джентльмена. Один был средних лет и хлипкого сложения, с безутешно-унылым лицом, весь какой-то нечищенный и немытый; он все время держал руки в карманах своих кургузых, серых в белую крапинку панталон, – очень больших карманах и порядком обтрепавшихся от этой его привычки. Второй джентльмен был крупный, гладкий, цветущий, в синем сюртуке со светлыми пуговицами и белом галстуке. У этого джентльмена лицо было очень красное, как будто чрезмерная доля крови сосредоточилась у него в голове; и, возможно, по этой же причине, от того места, где у него находилось сердце, веяло холодом.

Тот, что держал на вилке кусок рубца, окликнул первого джентльмена по фамилии – Файлер, – и оба подошли поближе. Мистер Файлер, будучи подслеповат, так близко пригнулся к остаткам обеда Тоби, чтобы разглядеть их, что Тоби порядком струхнул. Однако мистер Файлер не съел их.

– Этот вид животной пищи, олдермен, – сказал Файлер, тыкая в мясо карандашом, – известен среди рабочего населения нашей страны под названием рубцов.

Олдермен рассмеялся и подмигнул: он был весельчак, этот олдермен Кьют. И к тому же хитрец! Тонкая штучка! Себе на уме. Такого не проведешь. Видел людей насквозь. Знал их как свои пять пальцев. Уж вы мне поверьте!

– Но кто ест рубцы? – спросил Файлер, оглядываясь по

сторонам. – Рубцы – это безусловно наименее экономичный и наиболее разорительный предмет потребления из всех, какие можно встретить на рынках нашей страны. Установлено, что при варке потеря с одного фунта рубцов на семь восьмых одной пятой больше, чем с фунта любого иного животного продукта. Так что, собственно говоря, рубцы стоят дороже, нежели тепличные ананасы. Если взять число домашних животных, которых ежегодно забивают на мясо только в Лондоне и его окрестностях, и очень скромную цифру количества рубцов, какое дают туши этих животных, должным образом разделанные, находим, что той частью этих рубцов, которая непроизводительно расходуется при варке, можно было бы прокормить гарнизон из пятисот солдат в течение пяти месяцев по тридцати одному дню в каждом, да еще один февраль. Какой непроизводительный расход!

У Трухти от ужаса даже поджилки задрожали. Выходит, что он собственноручно уморил с голоду гарнизон из пятисот солдат!

– Кто ест рубцы? – повторил мистер Файлер, повышая голос. – Кто ест рубцы? Трухти конфузливо поклонился.

– Это вы едите рубцы? – спросил мистер Файлер. – Ну, так слушайте, что я вам скажу. Вы, мой друг, отнимаете эти рубцы у вдов и сирот.

– Боже упаси, сэр, – робко возразил Трухти. – Я бы лучше сам с голоду умер.

– Если разделить вышеупомянутое количество рубцов на

точно подсчитанное число вдов и сирот, – сказал мистер Файлер, повернувшись к олдермену, – то на каждого придется ровно столько рубцов, сколько можно купить за пенни. Для этого человека не останется ни одного грана. Следовательно, он – грабитель.

Трухти был так ошеломлен, что даже не огорчился, увидев, что олдермен сам доел его рубцы. Теперь ему и смотреть на них было тошно.

– А вы что скажете? – ухмыляясь, обратился олдермен Кьют к краснолицему джентльмену в синем сюртуке. – Вы слышали мнение нашего друга Файлера. Ну, а вы что скажете?

– Что мне сказать? – отвечал джентльмен. – Что тут можно сказать? Кому в наше развращенное время вообще интересны такие субъекты, – он говорил о Тоби. – Вы только посмотрите на него! Что за чучело! Эх, старое время, доброе старое время, славное старое время! То было время крепкого крестьянства и прочего в этом роде. Да что там, то было время чего угодно в любом роде. Теперь ничего не осталось. Э-эх! – вздохнул краснолицый джентльмен. – Доброе старое время!

Он не уточнил, какое именно время имел в виду; осталось также неясным, не был ли его приговор нашему времени подсказан нелицеприятным сознанием, что оно отнюдь не совершило подвига, произведя на свет его самого.

– Доброе старое время, доброе старое время, – твердил

джентльмен. – Ах, что это было за время! Единственное время, когда стоило жить. Что уж толковать о других временах или о том, каковы стали люди в наше время. Да можно ли вообще назвать его временем? По-моему – нет. Загляните в «Костюмы» Стратта<sup>3</sup>, и вы увидите, как выглядел рассыльный при любом из добрых старых английских королей.

– Даже в самые счастливые дни у него не бывало ни рубахи, ни чулок, – сказал мистер Файлер, – а так как в Англии даже овощей почти не было, то и питаться ему было нечем. Я могу это доказать, с цифрами в руках.

Но краснолицый джентльмен продолжал восхвалять старое время, доброе старое время, славное старое время. Что бы ни говорили другие, он все кружился на месте, снова и снова повторяя все те же слова; так несчастная белка кружится в колесе, устройство которого она, вероятно, представляет себе не более отчетливо, чем сей краснолицый джентльмен – свой канувший в прошлое золотой век.

Возможно, что вера бедного Тоби в это туманное старое время не окончательно рухнула, так как в голове у него вообще стоял туман. Одно, впрочем, было ему ясно, несмотря на его смятение; а именно, что как бы ни расходились взгляды этих джентльменов в мелочах, все же для тревоги, терзавшей его в то утро, да и не только в то утро, имелись веские основания. «Да, да. Мы всегда не правы, и оправдать нас

---

<sup>3</sup> *Стратт Джозеф* – художник-график и историк английского быта (1749–1802).

нечем, – в отчаянии думал Трухти. – Ничего хорошего в нас нет. Мы так и родимся дурными!»

Но в груди у Трухти билось отцовское сердце, неведомо как попавшее туда вопреки высказанному им выше убеждению; и он очень боялся, как бы эти умные джентльмены не вздумали предсказывать будущее Мэг сейчас, в короткую пору ее девичьего счастья. «Храни ее бог, – думал бедный Трухти, – она и так узнает все скорее, чем нужно».

Поэтому он стал знаками показывать молодому кузнецу, что ее нужно поскорее увести. Но тот беседовал с нею вполголоса, стоя поодаль, и так увлекся, что заметил эти знаки лишь одновременно с олдерменом Кьютом. А ведь олдермен еще не сказал своего слова, и так как он тоже был философ – только практический, о, весьма практический! – то, не желая лишиться слушателей, он крикнул: «Погодите!»

– Вам, разумеется, известно, – начал олдермен, обращаясь к обоим своим приятелям со свойственной ему самодовольной усмешкой, – что я человек прямой, человек практический; и ко всякому делу я подхожу прямо и практически. Так уж у меня заведено. В обхождении с этими людьми нет никакой трудности, и никакого секрета, если только понимаешь их и умеешь говорить с ними на их языке. Эй, вы, рассыльный! Не пробуйте, мой друг, уверять меня, или еще кого-нибудь, что вы не всегда едите досыта, и притом отменно вкусно; я-то лучше знаю. Я отведал ваших рубцов, и меня вам не «околпачить». Вы понимаете, что значит «околпа-

чить», а? Правильное я употребил слово? Ха-ха-ха!

– Ей-же-ей, – добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям, – надлежащее обхождение с этими людьми – самое легкое дело, если только их понимаешь.

Здорово он наловчился говорить с простолюдинами, Этот олдермен Кьют! И никогда-то он не терял терпения! Не гордый, веселый, обходительный джентльмен, и очень себе на уме!

– Видите ли, мой друг, – продолжал олдермен, – сейчас болтают много вздора о бедности – «нужда заела», так ведь говорится? Ха-ха-ха! – и я намерен все это упразднить. Сейчас в моде всякие жалкие слова насчет недоедания, и я твердо решил это упразднить. Вот и все. Ей-же-ей, – добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям, – можно упразднить что угодно среди этих людей, нужно только взяться умеючи.

Тоби, действуя как бы бессознательно, взял руку Мэг и продел ее себе под локоть.

– Дочка ваша, а? – спросил олдермен и фамильярно потрепал ее по щеке.

Уж он-то всегда был обходителен с рабочими людьми, Этот олдермен Кьют! Он знал, чем им угодить. И высокомерия – ни капли!

– Где ее мать? – спросил сей достойный муж.

– Умерла, – сказал Тоби. – Ее мать брала белье в стирку, а как дочка родилась, господь призвал ее к себе в рай.



– Но не для того, чтобы брать там белье в стирку? – заметил олдермен с приятной улыбкой.

Трудно сказать, мог ли Тоби представить себе свою жену в раю без ее привычных занятий. Но вот что интересно: если бы в рай отправилась супруга олдермена Кьюта, стал бы он отпускать шутки насчет того, какое положение она там занимает?

– А вы за ней ухаживаете, так? – повернулся Кьют к молодому кузнецу.

– Да, – быстро ответил Ричард, задетый за живое этим вопросом. – И на Новый год мы поженемся.

– Что? – вскричал Файлер. – Вы хотите пожениться?

– Да, уважаемый, есть у нас такое намерение, – сказал Ричард. – Мы даже, понимаете ли, спешим, а то боимся, как бы и это не упразднили.

– О! – простонал Файлер. – Если вы это упраздните, олдермен, вы поистине сделаете доброе дело. Жениться! Жениться!! Боже мой, эти люди проявляют такое незнание первооснов политической экономии, такое легкомыслие, такую испорченность, что, честное слово... Нет, вы только посмотрите на эту пару!

Ну что же! Посмотреть на них стоило. И казалось, ничего более разумного, чем пожениться, они не могли и придумать.

– Вы можете прожить Мафусаилов век, – сказал мистер Файлер, – и всю жизнь не покладая рук трудиться для таких

вот людей; копить факты и цифры, факты и цифры, накопить горы фактов и цифр; и все равно у вас будет не больше шансов убедить их в том, что они не имеют права жениться, чем в том, что они не имели права родиться на свет. А уж что такого права они не имели, нам доподлинно известно. Мы давно доказали это с математической точностью.

Олдермен совсем развеселился. Он прижал указательный палец правой руки к носу, точно говоря обоим своим приятелям: «Глядите на меня! Слушайте, что скажет человек практический!» – и поманил к себе Мэг.

– Подойдите-ка сюда, милая, – сказал олдермен Кьют.

Молодая кровь ее жениха уже давно кипела от гнева, и ему очень не хотелось пускать ее. Он, правда, сдержал себя, но когда Мэг приблизилась, он тоже шагнул вперед и стал рядом с ней, взяв ее за руку. Тоби по-прежнему держал другую ее руку и обводил всех по очереди растерянным взглядом, точно видел сон наяву.

– Ну вот, моя милая, теперь я преподам вам несколько полезных советов, – сказал олдермен, как всегда просто и приветливо. – Давать советы – это, знаете ли, входит в мои обязанности, потому что я – судья. Вам ведь известно, что я судья?

Мэг несмело ответила «да». Впрочем, то, что олдермен Кьют – судья, было известно всем. И притом какой деятельный судья! Был ли когда в глазу общества сучок зеленее и краше Кьюта!

– Вы говорите, что собираетесь вступить в брак, – продолжал олдермен. – Весьма нескромный и предосудительный шаг для молодой девицы. Но оставим это в стороне. Сразу после свадьбы вы начнете ссориться с мужем, и в конце концов он вас бросит. Вы думаете, что этого не будет; но это будет, я-то знаю. Так вот, предупреждаю вас, что я решил упразднить брошенных жен. Поэтому не пробуйте подавать мне жалобу. У вас будут дети, мальчишки. Эти мальчишки будут расти на улице, босые, без всякого надзора и, конечно, вырастут преступниками. Так имейте в виду, мой юный друг, я их засужу всех до единого, потому что я поставил себе цель упразднить босоногих мальчишек. Возможно (даже весьма вероятно), что ваш муж умрет молодым и оставит вас с младенцем на руках. В таком случае вас сгонят с квартиры и вы будете бродить по улицам. Только не бродите, милая, возле моего дома, потому что я твердо намерен упразднить бродячих матерей; вернее – всех молодых матерей, без разбора. Не вздумайте приводить в свое оправдание болезнь; или приводить в свое оправдание младенцев; потому что всех страждущих и малых сих (надеюсь, вы помните церковную службу, хотя боюсь, что нет) я намерен упразднить. А если вы попытаетесь – если вы безрассудно и неблагодарно, нечестиво и коварно попытаетесь утопиться, или повеситься, не ждите от меня жалости, потому что я твердо решил упразднить всяческие самоубийства! Если можно сказать, – произнес олдермен со своей самодовольной улыб-

кой, – что какое-нибудь решение я принял особенно твердо, так это решение упразднить самоубийства. Так что смотрите мне, без фокусов. Так ведь у вас говорится? Ха-ха! Теперь мы понимаем друг друга.

Тоби не знал, ужасаться ему или радоваться, видя, что Мэг побелела как платок и выпустила руку своего жениха.

– А вы, тупица несчастный, – совсем уже весело и игриво обратился олдермен к молодому кузнецу, – что это вам взбрело в голову жениться? Зачем вам жениться, глупый вы человек! Будь я таким видным, ладным да молодым, я бы постыдился цепляться за женскую юбку, как сопляк какой-нибудь. Да она станет старухой, когда вы еще будете мужчиной в полном соку. Вот тогда я на вас посмотрю – как за вами будет всюду таскаться чумичка-жена и орава скулящих детишек!

Да, он умел шутить с простонародьем, этот олдермен Кьют!

– Ну, отправляйтесь восвояси, – сказал олдермен, – и кайтесь в своих грехах. Да не смешите вы людей, не женитесь на Новый год. Задолго следующего Нового года вы об этом пожалеете – такой-то бравый молодец, на которого все девушки заглядываются! Ну, отправляйтесь восвояси.

Они отправились восвояси. Не под руку, не держась за руки, не обмениваясь нежными взглядами; она – в слезах, он – угрюмо глядя в землю. Куда девалась радость, от которой еще так недавно разыграло сердце приунывшего было старого Тоби? Олдермен (благослови его бог!) упразднил и ее.

– Раз уж вы здесь, – сказал олдермен Тоби Вэку, – я поручу вам отнести письмо. Только быстро. Вы это можете? Ведь вы старик.

Тоби, отупело глядевший вслед дочери, очнулся и кое-как пробормотал, что он очень быстрый и очень сильный.

– Сколько вам лет? – спросил олдермен.

– Седьмой десяток пошел, сэр, – отвечал Тоби.

– О! Это намного выше средней цифры! – неожиданно вскричал мистер Файлер, как бы желая сказать, что он, конечно, человек терпеливый, но, право же, всему есть предел.

– Я и сам чувствую, что я лишний, сэр, – сказал Тоби. – Я... я еще нынче утром это подозревал. Ах ты горе какое!

Олдермен оборвал его речь, дав ему письмо, которое достал из кармана; Тоби получил бы кроме того и шиллинг; но поскольку мистер Файлер всем своим видом показывал, что в этом случае он ограбил бы какое-то число людей на девять с половиной пенсов каждого, он получил всего шесть пенсов и еще подумал, что ему здорово повезло.

Затем олдермен взял обоих своих приятелей под руки и отбыл в наилучшем расположении духа; но тут же, словно вспомнив что-то, он поспешно вернулся, уже один.

– Рассыльный! – сказал олдермен.

– Сэр? – откликнулся Тоби.

– Хорошенько смотрите за дочкой. Слишком она у вас красивая.

«Даже красота ее, наверно, у кого-нибудь украдена, – по-

думал Тоби, глядя на монету, лежавшую у него в ладони, и вспоминая рубцы. – Очень даже просто: взяла и ограбила пятьсот знатных леди, каждую понемножку. Вот ужас-то!»

– Слишком она у вас красивая, любезный, – повторил олдермен. – Такая добром не кончит, это ясно как день. Послушайте моего совета. Смотрите за ней хорошенько! – С этими словами он поспешил прочь.

– Виноваты. Кругом виноваты! – сказал Тоби, разводя руками. – Дурными родились. Не имеем права жить на свете.

И тут на него обрушился звон колоколов. Полный, громкий, звучный, но не было в нем утешения. Ни капли.

– Песня-то изменилась! – воскликнул старик, прислушавшись. – Ни слова не осталось прежнего. Да и немудрено. Нет у меня права ни на новый год, ни на старый. Лучше умереть!

А колокола все заливались, даже воздух дрожал от их звона. «Упразднить, упразднить! Доброе время, старое время! Факты-цифры, факты-цифры! Упразднить, упразднить!» Вот что они твердили, и притом так упорно и долго, что у Тоби круги пошли перед глазами.

Он сжал руками свою бедную голову, как будто боялся, что она разлетится вдребезги. Движение это оказалось весьма своевременным, ибо, обнаружив у себя в руке письмо и, следовательно, вспомнив о поручении, он машинально двинулся с места обычной своей трусцою и затрусил прочь.

## Вторая четверть

Письмо, которое вверил Тоби олдермен Кьют, было адресовано некоей блистательной особе, проживавшей в некоем блистательном квартале Лондона. В самом блистательном его квартале. Это без сомнения был самый блистательный квартал, потому что те, кто в нем жил, именовали его «светом».

Тоби положительно казалось, что никогда еще он не держал в руке такого тяжелого письма. Не оттого, что олдермен запечатал его огромной печатью с гербом и не пожалел сургуча, – нет, очень уж большой вес имело самое имя, написанное на конверте, и груды золота и серебра, с которыми оно связывалось.

«Как непохоже на нас! – подумал Тоби в простоте души, озабоченно перечитывая адрес. – Разделите всех морских черепах в Лондоне и его окрестностях на число важных господ, которым они по карману. Чью долю они забирают себе, кроме своей собственной? А чтобы отнимать у кого-нибудь рубцы – да они нипочем до этого не унизятся!»

И Тоби, бессознательно отдавая дань уважения такому благородству, бережно прихватил письмо уголком фартука.

– Их дети, – сказал Тоби, и глаза его застлало туманом, – их дочери... им-то не заказано любить знатных джентльменов и выходить за них замуж; им можно становиться счастли-

ливыми женами и матерями; можно быть такими же красавицами, как моя Мэ...

Выговорить ее имя ему не удалось. Последняя буква застряла в горле, точно стала величиною с весь алфавит.

«Ну ничего, – подумал Тоби. – Я-то знаю, что я хотел сказать. А большего мне и не требуется», – и с этой утешительной мыслью он затрусил дальше.

В тот день крепко морозило. Воздух был чистый, бодрящий, ядреный. Зимнее солнце, хоть и не могло дать тепла, весело глядело сверху на лед, который оно было бессильно растопить, и зажигало на нем яркие блески.

В другое время Тоби, возможно, усмотрел бы в зимнем солнце поучение для бедняков; но сейчас ему было не до этого.

В тот день старый год доживал свои последние часы. Он покорно претерпел упреки и наветы клеветников и честно выполнил свою работу. Весна, лето, осень, зима. Он совершил положенный круг и теперь склонил усталую голову на вечный покой. Сам он не знал ни надежд, ни высоких порывов, ни прочного счастья, но, провозвестник многих радостей для тех, кто придет ему на смену, он взывал перед смертью о том, чтобы труд и терпение его не были забыты и чтобы ему умереть спокойно. Тоби, возможно, прочел бы в умирании года притчу для бедняков; но сейчас ему было не до этого.

И только ли ему? Или уже семьдесят сменявших друг дру-



га лет обращалось с тем же призывом к английским труженикам и все напрасно!

На улицах царил суета, лавки были весело разукрашены. Новому году, как младенцу, имеющему унаследовать весь мир, готовили радостную встречу с приветствиями и подарками. Для нового года были припасены игрушки и книги, сверкающие безделушки, нарядные платья, хитрые планы обогащения; и новые изобретения, чтобы ему не соскучиться. Его жизнь была размечена в календарях и альманахах; фазы луны и движение звезд, приливы и отливы, все было заранее известно до одной минуты; продолжительность каждого его дня и каждой ночи была вычислена с такой же точностью, с какой мистер Файлер решал свои задачки про мужчин и женщин.

Новый год, новый год. Повсюду новый год! На старый год уже смотрели как на покойника; имущество его распродалось по дешевке, как пожитки утонувшего матроса на корабле. Он еще дышал, а моды его уже стали прошлогодними и шли за бесценок. Сокровища его стали трухой по сравнению с богатствами его нерожденного преемника.

Тоби Вэку, по его мнению, нечего было ждать ни от старого года, ни от нового.

«Упразднить, упразднить! Факты-цифры, факты-цифры! Доброе время, старое время! Упразднить, упразднить», – он трусил и трусил под этот напев, и никакого другого его ноги не желали слушаться.

Но и этот напев, как ни был он печален, привел его в надлежащее время к цели. К особняку сэра Джозефа Баули, члена парламента.

Дверь отворил швейцар. И какой швейцар! Толстый, надутый, в ливрее! Бляха на груди у Тоби сразу потускнела рядом с его позументами.

Швейцар этот долго отдувался, раньше чем заговорить, – он задохнулся, так как опрометчиво встал со стула, не успев собраться с мыслями. Когда он обрел голос – а случилось это не скоро, потому что голос был глубоко упрятан под слоями жира и мяса, – то произнес сиплым шепотом:

– От кого?

Тоби ответил.

– Передайте сами вот туда, – сказал швейцар, указывая на дверь в конце длинного коридора. – Сегодня все доставляется прямо туда. Еще немножко – и вы бы опоздали: карета подана, а они и приезжали-то в город всего на несколько часов, нарочно для этого дела.

Тоби старательно вытер ноги (и без того уже сухие) и двинулся в указанном ему направлении, примечая по дороге, что дом этот страх какой богатый, но весь затянутый чехлами и молчаливый – видно, хозяева и впрямь живут в деревне. Постучав в дверь, он услышал «войдите», а войдя, очутился в просторном кабинете, где за столом, заваленном бумагами и папками, сидели важная леди в капоре и не ахти какой важный джентльмен в черном, писавший под ее дик-

товку; в то время как другой джентльмен, постарше и гораздо поважнее, чья трость и шляпа лежали на столе, шагал из угла в угол, заложив руку за борт сюртука и поглядывая на висевший над камином портрет, который изображал его самого во весь рост, а роста он был немалого.

– В чем дело? – спросил этот джентльмен. – Мистер Фиш, будьте добры, займитесь.

Мистер Фиш извинился перед леди и, взяв у Тоби письмо, почтительно вручил его по назначению.

– От олдермена Кьюта, сэр Джозеф.

– Это все? Больше у вас ничего нет, рассыльный? – осведомился сэр Джозеф.

Тоби ответил отрицательно.

– Ни от кого никаких векселей, никаких претензий ко мне? Мое имя Баули, сэр Джозеф Баули. Если таковые имеются, предъявите их. Возле мистера Фиша лежит чековая книжка. Я ничего не откладываю на будущий год. В этом доме по всем решительно счетам расплачиваются в конце старого года. Так, чтобы, если безвременная... э-э...

– Смерть, – подсказал мистер Фиш.

– Кончина, сэр, – надменно поправил его сэр Джозеф, – пресечет нить моей жизни, я мог надеяться, что дела мои окажутся в полном порядке.

– Дорогой мой сэр Джозеф! – воскликнула леди, бывшая много моложе своего супруга. – Как можно упоминать о таких ужасах!

– Миледи Баули! – заговорил сэр Джозеф, время от времени начиная беспомощно барахтаться, когда мысли его достигали особенно большой глубины, – в эту пору года нам следует подумать о... э-э... о себе. Нам следует заглянуть в свою... э-э... свою счетную книгу. Всякий раз, с наступлением этого дня, столь знаменательного в делах человеческих, нам следует помнить, что в этот день происходит серьезный разговор между человеком и его... э-э... его банкиром.

Сэр Джозеф произнес эту речь так, словно хорошо сознавал заключенную в ней нравственную ценность и хотел даже Тоби Вэку предоставить возможность извлечь из нее пользу. Кто знает, не этим ли намерением объяснялось и то обстоятельство, что он все еще не распечатывал письма и велел Тоби подождать минутку.

– Вы просили мистера Фиша написать, миледи... – начал сэр Джозеф.

– Мистер Фиш, по-моему, уже написал это, – перебила его супруга, бросив взгляд на упомянутого джентльмена. – Но в самом деле, сэр Джозеф, я, кажется, не отошлю это письмо. Очень уж выходит дорого.

– Что именно дорого? – осведомился сэр Джозеф.

– Да это благотворительное общество. Они дают нам только два голоса при подписке на пять фунтов<sup>4</sup>. Просто чудо-

---

<sup>4</sup> ...только два голоса при подписке на пять фунтов. – В Англии, наряду с благотворительностью официальной – через приходы, распределявшие средства, поступающие в виде «налога на бедных», – существовало множество частных благотворительных обществ, собиравших пожертвования среди богатых людей

вищно!

– Миледи Баули, – возразил сэр Джозеф, – вы меня удивляете. Разве наши чувства должны быть соразмерны числу голосов? Не вернее ли сказать, что, для человека разумного, они должны быть соразмерны числу подписчиков и тому здоровому состоянию духа, в какое их приводит столь полезная деятельность? Разве не чистейшая радость – иметь в своем распоряжении два голоса на пятьдесят человек?

– Для меня, признаюсь, нет, – отвечала леди. – Мне это досадно. К тому же, нельзя оказать любезность знакомым. Но вы ведь друг бедняков, сэр Джозеф. Вы смотрите на это иначе.

– Да, я друг бедняков, – подтвердил сэр Джозеф, взглянув на бедняка, при сем присутствующего. – Как такового меня можно язвить. Как такового меня не однажды язвили. Но мне не нужно иного звания.

«Какой достойный джентльмен, храни его бог!» – подумал Тоби.

– Я, например, не согласен с Кьютом, – продолжал сэр Джозеф, помахивая письмом. – Я не согласен с партией Файлера. Я не согласен ни с какой вообще партией. Моему другу бедняку нет дела до всех этих господ, и всем этим господам нет дела до моего друга бедняка. Мой друг бедняк, в моем

---

и предоставлявших им, в соответствии с суммой пожертвования, то или иное число голосов при выборах правления и административного персонала данного общества.

округе, – это мое дело. Никто, ни в одиночку, ни совместно, не вправе становиться между моим другом и мной. Вот как я на это смотрю. По отношению к бедняку я беру на себя... э-э... отеческую заботу. Я ему говорю: «Милейший, я буду обходиться с тобой по-отечески».

Тоби слушал очень внимательно, и понемногу на душе у него становилось легче.

– Тебе, милейший, – продолжал сэра Джозеф, задержавшись рассеянным взглядом на Тоби, – тебе нужно иметь дело только со мной. Не трудись думать о чем бы то ни было. Я сам буду за тебя думать. Я знаю, что для тебя хорошо; я твой родитель до гроба. Такова воля всемогущего провидения. Твое же назначение в жизни – не в том, чтобы пьянствовать, обжираться и все свои радости по-скотски сводить к еде, – Тоби со стыдом вспомнил рубцы, – а в том, чтобы чувствовать, как благороден труд. Бодро выходи с утра на свежий воздух и... э-э... и оставайся там. Проявляй усердие и умеренность, будь почтителен, умей во всем себе отказывать, расти детей на медные гроши, плати за квартиру в срок и ни минутой позже, будь точен в денежных: делах (бери пример с меня; перед мистером Фишем, моим доверенным секретарем, всегда стоит шкатулка с деньгами) – и можешь рассчитывать на то, что я буду тебе Другом и Отцом.

– Хороши же у вас детки, сэра Джозеф! – сказала леди и вся передернулась. – Сплошь ревматизм, лихорадка, кривые ноги, кашель, вообще всякие гадости!

– И тем не менее, миледи, – торжественно отвечал сэр Джозеф, – я для бедного человека Друг и Отец. Тем не менее я всегда готов его подбодрить. В конце каждого квартала он будет иметь доступ к мистеру Фишу. В день Нового года я и мои друзья всегда будем пить за его здоровье. Раз в год я и мои друзья будем обращаться к нему с прочувствованной речью. Один раз в своей жизни он, возможно, даже получит – публично, в присутствии господ – небольшое вспомоществование. А когда все эти средства, а также мысль о благородстве труда перестанут ему помогать и он навеки успокоится в могиле, тогда, миледи, – тут сэр Джозеф громко высморкался, – тогда я буду... на тех же условиях... Другом и Отцом... для его детей.

Тоби был глубоко растроган.

– Благодарная у вас семейка, сэр Джозеф, нечего сказать! – воскликнула его супруга.

– Миледи, – произнес сэр Джозеф прямо-таки величественно, – всем известно, что неблагодарность – порок, присущий этому классу. Ничего другого я и не жду.

«Вот-вот. Родимся дурными! – подумал Тоби. – Ничем нас не проймешь».

– Я делаю все, что в человеческих силах, – продолжал сэр Джозеф. – Я выполняю свой долг как Друг и Отец бедняков; и я пытаюсь образовать их ум, по всякому случаю внушая им единственное правило нравственности, какое нужно этому классу, а именно – чтобы они целиком полагались на ме-

ня. Не их дело заниматься... э-э... самими собой. Пусть даже они, по наущению злых и коварных людей, выказывают нетерпение и недовольство и повинны в непокорном поведении и черной неблагодарности, – а так оно несомненно и есть, – все равно я их Друг и Отец. Это определено свыше. Это в природе вещей.

Высказав столь похвальные чувства, он распечатал письмо олдермена и стал его читать.

– Как учтиво и как внимательно! – воскликнул сэр Джозеф. – Миледи, олдермен настолько любезен, что напоминает мне о выпавшей ему «великой чести» – он, право же, слишком добр! – познакомиться со мною у нашего общего друга, банкира Дидлса; а также осведомляется, угодно ли мне, чтобы он упразднил Уилла Ферна.

– Ах, очень угодно! – сказала леди Баули. – Он хуже их всех! Надеюсь, он кого-нибудь ограбил?

– Н-нет, – отвечал сэр Джозеф, справляясь с письмом. – Не совсем. Почти. Но не совсем. Он, сколько я понимаю, явился в Лондон искать работы (искал где лучше, как он изволил выразиться) и, будучи найден спящим ночью в сарае, был взят под стражу, а наутро приведен к олдермену. Олдермен говорит (и очень правильно), что намерен упразднить такие вещи; и что, если мне угодно, он будет счастлив начать с Уилла Ферна.

– Да, конечно, пусть это будет назиданием для других, – сказала леди. – Прошлой зимой, когда я ввела у нас в дерев-



не вышивание по трафареткам, считая это превосходным занятием для мужчин и мальчиков в вечернее время, и велела положить на музыку, по новой системе<sup>5</sup> стихи.

Будем довольны своим положением.  
Будем на сквайра взирать с уважением,  
Будем трудиться с любовью и рвением  
И не предаваться греху объедения,

чтобы они могли петь, пока работают, – этот Ферн, – как сейчас его вижу – притронулся к своей, с позволения сказать, шляпе и заявил: «Не взыщите, миледи, но разве можно меня равнять с девицей?» Я этого, конечно, ожидала; чего, кроме дерзости и неблагодарности, можно ожидать от этих людей? Но не в том дело. Сэр Джозеф! Накажите его в назидание другим!

– Кха! – кашлянул сэр Джозеф. – Мистер Фиш, будьте добры, займитесь...

Мистер Фиш тотчас схватил перо и стал писать под диктовку сэра Джозефа.

– «Секретно. Дорогой сэр! Премного обязан вам за любезный запрос касательно Уильяма Ферна, о котором я, к сожалению, не могу дать благоприятного отзыва. Я неизменно считал себя его Отцом и Другом, однако в ответ встречал с его стороны (случай, должен с прискорбием признать,

---

<sup>5</sup> ...по новой системе... – Речь идет о новой системе нотной записи, введенной в Германии в начале XIX века, а несколько позже принятой и в Англии.

довольно обычный) только неблагодарность и упорное противодействие моим планам. Уильям Ферн – человек непокорного и буйного нрава. Благонадежность его более чем сомнительна. Никакие уговоры быть счастливым, при полной к тому возможности, на него не действуют. Ввиду этих обстоятельств мне, признаюсь, кажется, что, когда он, дав вам время навести о нем справки, опять предстанет перед вами завтра (как он, по вашим словам, обещал, а я думаю, что в такой степени на него можно положиться), осуждение его на небольшой срок за бродяжничество пойдет на пользу обществу и послужит назиданием в стране, в которой – ради тех, кто, наперекор всему, остается Другом и Отцом бедняков, а также ради самих этих, в большинстве своем введенных в заблуждение людей, – назидания совершенно необходимы. Остаюсь...» и так далее.

– Право же, – заметил сэр Джозеф, подписав письмо и передавая его мистеру Фишу, чтобы тот его запечатал, – это предопределение свыше. В конце года я свожу счета даже с Уильямом Ферном!

Тоби, который уже давно перестал умиляться и снова загрустил, с удрученным видом шагнул вперед, чтобы взять письмо.

– Передайте, что кланяюсь и благодарю. – сказал сэр Джозеф. – Стойте!

– Стойте! – как эхо повторил мистер Фиш.

– Вы, вероятно, слышали, – произнес сэр Джозеф необы-

чайно веско, – кое-какие замечания, которые я был вынужден сделать касательно наступающего торжественного дня, а также нашей обязанности привести свои дела в порядок и быть готовыми. Вы могли заметить, что я не ищу отговориться своим высоким положением в обществе, но что мистер Фиш – вот этот джентльмен – сидит здесь с чековой книжкой и, скажу больше, для того и находится здесь, чтобы я мог оплатить все мои счета и с завтрашнего дня начать новую жизнь. Ну, а вы, мой друг, можете ли вы положить руку на сердце сказать, что вы тоже подготовились к новому году?

– Боюсь, сэр, – пролепетал Трухти, кротко на него поглядывая, – что я... я немножко задержался с уплатой.

– Задержался с уплатой! – повторил сэр Джозеф Баули отдельно и угрожающе.

– Боюсь, сэр, – продолжал Трухти, запинаясь, – что я задолжал шиллингов десять или двенадцать миссис Чикенстокер.

– Миссис Чикенстокер! – повторил сэр Джозеф точно таким же тоном.

– Она держит лавку, сэр, – пояснил Тоби, – мелочную лавку. И еще – немножко за квартиру. Самую малость, сэр. Я знаю, долги – это непорядок, но очень уж нам туго пришлось.

Сэр Джозеф дважды обвел взглядом свою супругу, мистера Фиша и Тоби. Потом безнадежно развел руками, показывая этим жестом, что на дальнейшую борьбу не способен.

– Как может человек, даже из этого расточительного и

упрямого сословия... старый человек, с седой головой... как может он смотреть в лицо новому году, когда дела его в таком состоянии, как может он вечером лечь в постель, а утром снова подняться и... Ну, довольно, – сказал он, поворачиваясь к Тоби спиной. – Отнесите письмо. Отнесите письмо.

– Я и сам не рад, сэръ, – сказал Тоби, стремясь хоть как-нибудь оправдаться. – Очень уж нам тяжело досталось.

Но поскольку сэръ Джозеф все твердил «Отнесите письмо, отнесите письмо!», а мистер Фиш не только вторил ему, но для вящей убедительности еще указывал на дверь, бедному Тоби ничего не оставалось, как поклониться и выйти вон. И очутившись на улице, он нахлобучил свою обтрепанную шляпу низко на глаза, чтобы скрыть тоску, которую вселяла в него мысль, что нигде-то ему не перепадает ни крошки от нового года.

На обратном пути, дойдя до старой церкви, он даже не стал снимать шляпу, чтобы, задрвав голову, посмотреть на колокольню. Он только приостановился там, по привычке, и смутно подумал, что уже темнеет. Где-то над ним терялась в сумерках церковная башня, и он знал, что вот-вот зазвонят колокола, а в такую пору голоса их всегда доносились к нему точно с облаков. Но сейчас он не чаял поскорее доставить олдермену письмо и убраться подальше, пока они молчат, – он смертельно боялся, как бы они, вдобавок к тому припеву, что он слышал от них в прошлый раз, не стали вызванивать «Друг и Отец, Друг и Отец».

Поэтому Тоби поскорее разделался со своим поручением и затрусил к дому. Но был ли тому виной его аллюр, не очень удобный для передвижения по улице, или его шляпа, надвинутая на самые глаза, а только он, не протрусив и минуты, столкнулся с каким-то встречным и отлетел на мостовую.

– Ох, простите великодушно! – сказал Трухти, в смущении сдвигая шляпу на затылок, от чего стала видна рваная подкладка и голова его уподобилась улыю. – Я вас, сохрани бог, не ушиб?

Не такой уж Трухти был Самсон, чтобы ушибить кого-нибудь, гораздо легче было ушибить его самого; он и на мостовую-то отлетел наподобие волана. Однако он держался столь высокого мнения о собственной силе, что не на шутку встревожился и еще раз спросил:

– Я вас, сохрани бог, не ушиб?

Человек, на которого он налетел, – загорелый, жилистый мужчина деревенского вида, с проседью и небритый, – пристально поглядел на него, словно заподозрив шутку. Но убедившись, что Трухти и не думает шутить, ответил:

– Нет, друг, не ушибли.

– И малютка ничего? – спросил Трухти.

– И малютка ничего. Большое спасибо.

С этими словами он посмотрел на девочку, спящую у него на руках, и, заслонив ей лицо концом ветхого шарфа, которым была обмотана его шея, медленно пошел дальше.

Голос, каким он сказал «большое спасибо», проник Трух-

ти в самое сердце. Этот прохожий, весь в пыли и в грязи после долгой дороги, был так утомлен и измучен, он оглядывался по сторонам так растерянно и уныло, – видно, ему приятно было поблагодарить хоть кого-нибудь, за какой угодно пустяк. Тоби в задумчивости смотрел, как он плетется прочь, унося девочку, обвившую рукой его шею.

На мужчину в стоптанных башмаках – от них осталась только тень, только призрак башмаков, – в грубых кожаных гетрах, крестьянской блузе и шляпе с обвислыми полями смотрел в задумчивости Трухти, забыв обо всем на свете. И на руку девочки, обвившую его шею.

Человек уже почти слился с окружающим мраком, но вдруг он оглянулся и, увидев, что Тоби еще не ушел, остановился, точно сомневаясь, вернуться ему или идти дальше. Он сделал сперва первое, потом второе, потом решительно повернул обратно, и Тоби двинулся ему навстречу.

– Не можете ли вы мне сказать, – проговорил путник с легкой улыбкой, – а вы, если можете, то конечно скажете, так я лучше спрошу вас, чем кого другого, – где живет олдермен Кьют?

– Здесь рядом, – ответил Тоби. – Я с удовольствием покажу вам его дом.

– Я должен был явиться к нему завтра, и не сюда, а в другое место, – сказал человек, следуя за Тоби, – но я на подозрении и хотел бы оправдаться, чтобы потом спокойно искать заработка... не знаю где. Так он авось не посетует, если

я нынче вечером приду к нему на дом.

– Не может быть! – вскричал пораженный Тоби. – Неужто ваша фамилия Ферн?

– А? – воскликнул его спутник, в изумлении к нему обернувшись.

– Ферн! Уилл Ферн! – сказал Тоби.

– Да, это мое имя, – подтвердил тот.

– Ну, если так, – закричал Тоби, хватая его за руку и опасно озираясь, – ради всего святого, не ходите к нему! Не ходите к нему! Он вас упразднит, уж это как пить дать. Вот, зайдем-ка сюда, в переулок, и я вам все объясню. Только не ходите к нему.

Новый его знакомец скорее всего счел его за помешанного, однако спорить не стал. Когда они укрылись от взглядов прохожих, Тоби выложил все, что знал, – какую скверную рекомендацию дал ему сэр Джозеф и прочее.

Герой его повести выслушал ее с непонятым спокойствием. Он ни разу не перебил и не поправил Тоби.

Время от времени он кивал головой, точно поддакивая старому, надоевшему рассказу, а вовсе не с тем, чтобы его опровергнуть, да раза два сдвинул на макушку шляпу и провел веснушчатой рукой по лбу, на котором каждая пропаханная им борозда словно оставила свой след в миниатюре. Вот и все.

– В общем, уважаемый, все это правда, – сказал он. – Кое-где я бы мог отделить плевелы от пшеницы, да ладно уж. Не

все ли равно? Я порчу ему всю картину. На свое горе. Иначе я не могу; я бы завтра опять поступил точно так же. А что до рекомендации, так господа, прежде чем сказать о нас одно доброе слово, уж ищут-ищут, нюхают-нюхают, все смотрят, к чему бы придраться! Ну что ж! Надо надеяться, что им не так легко потерять доброе имя, как нам, а то пришлось бы им жить с такой оглядкой, что и вовсе жить не захочется. О себе скажу, уважаемый, что ни разу вот эта рука, – он вытянул вперед руку, – не взяла чужого; и никогда не отлынивала от работы, хоть какой тяжелой и за любую плату. Даю на отсечение эту самую руку, что не вру! Но когда я, сколько ни работай, не могу жить по-человечески: когда я с утра до ночи голоден; когда я вижу, что вся жизнь рабочего человека этак вот начинается, и проходит, и кончается, без всякой надежды на лучшее, – тогда я говорю господам: «Не трогайте меня и оставьте в покое мой дом. Чтобы вашей ноги в нем не было, мне и без вас тошно. Не ждите, что я прибегу в парк, когда у вас там празднуют день рождения, или произносят душеспасительные речи. Играйте в свои игрушки без меня, на здоровье, желаю удовольствия. Нам не о чем говорить друг с другом. Лучше меня не трогать.

Заметив, что девочка открыла глаза и удивленно осматривается, он осекся, что-то ласково зашептал ей на ухо и поставил ее на землю рядом с собой. Она прижалась к его пропыленной ноге, а он, медленно накручивая одну из ее длинных косичек на свой закрученный указательный палец, снова



обратился к Тоби:

– По природе я, мне кажется, человек покладистый, и уж конечно довольствуюсь малым. Ни на кого из них я не в обиде. Я только хочу жить по-человечески. А этого я не могу, и от тех, что могут, меня отделяет пропасть. Таких, как я, много. Их надо считать не единицами, а сотнями и тысячами.

Тоби знал, что сейчас он наверняка говорит правду, и покивал головой в знак согласия.

– Вот они меня и ославили, – сказал Ферн, – и уж наверное на всю жизнь. Выражать недовольство – незаконно, а я как раз и выражаю недовольство, хотя, видит бог, я бы куда охотнее был бодр и весел. Мне-то что, мне в тюрьме будет не хуже, чем сейчас; но ведь этот олдермен, чего доброго, и впрямь меня засадит, раз за меня некому слова замолвить; а вы понимаете... – и он указал пальцем вниз, на ребенка.

– Красивое у нее личико, – сказал Тоби.

– Да, – отозвался Ферн вполголоса и бережно, обеими руками, повернув лицо девочки к себе, внимательно в него взгляделся. – Я сам об этом думал, и не раз. Я думал об этом, когда в очаге у меня не было ни единого уголька, а в доме – ни куска хлеба. Думал и в тот вечер, когда нас схватили, точно воров. Но они... они не должны подвергать эту малютку слишком большим испытаниям, верно, Лилиен? Это несправедливо.

Он говорил так глухо и смотрел на девочку так пристально и странно, что Тоби, пытаясь отвлечь его от мрачных мыс-

лей, спросил, жива ли его жена.

– Я никогда и не был женат, – ответил тот, покачав головой. – Она дочка моего брата, круглая сирота. Ей девять лет. На вид меньше, верно? – но это оттого, что она сейчас устала и озябла. О ней там хотели позаботиться – запереть в четырех стенах в рабочном доме, двадцать восемь миль от наших мест (так они позаботились о моем старике отце, когда он больше не мог работать, только он их недолго утруждал); но я взял ее к себе, и с тех пор она живет со мной. У ее матери была здесь, в Лондоне, одна знакомая женщина. Мы хотим ее разыскать, и хотим найти работу, но Лондон – большой город. Ну да ничего, зато есть где погулять, правда, Лилли?

Он улыбнулся девочке и пожал руку Тоби, которому его улыбка показалась печальнее слез.

– Я даже имени вашего не знаю, – сказал он, – но я открыл вам душу, потому что я вам благодарен, – вы мне оказали большую услугу. Я послушаюсь вашего совета и не пойду к этому...

– Судье, – подсказал Тоби.

– Да, раз уж его так называют. К этому судье. А завтра попытаем счастья где-нибудь в пригородах, может там нам больше повезет. Прощайте. Счастливого нового года!

– Стойте! – крикнул Тоби, не выпуская его руки. – Стойте! Не будет новый год для меня счастливым, если мы так простимся. Не будет новый год для меня счастливым, если я отпущу вас с ребенком бродить неведомо где, без крыши над

головой. Пойдемте ко мне! Я бедный человек, и дом у меня бедный; но на одну-то ночь я могу вас приютить без всякого для себя ущерба. Пойдемте со мной. А ее я понесу! – говорил Трухти, беря девочку на руки. – Красоточка моя! Да я двадцать таких снесу и не почувствую. Вы скажите, если я иду слишком быстро. Ведь я скороход, всегда этим отличался! – Так говорил Трухти, хотя на один шаг своего усталого спутника он делал пять-шесть семенящих шажков и худые его ноги подгибались под тяжестью девочки.

– Да она легонькая, – тараторил Трухти, работая языком так же торопливо, как ногами: он не терпел, когда его благодарили, и боялся умолкнуть хотя бы на минуту, – легонькая, как перышко. Легче павлиньего перышка, куда легче. Раз-два-три, вот и мы! Первый поворот направо, дядя Уилл, мимо колодца, и налево в проулок прямо напротив трактира. Раз-два-три, вот и мы! Теперь на ту сторону, дядя Уилл, и запоминайте – на углу стоит паштетник. Раз-два-три, вот и мы! Сюда, за конюшни, дядя Уилл, и вон к той черной двери, где на дощечке написано «Т. Вэк, рассыльный»; и раз-два-три, и вот и мы, и вот мы и пришли, Мэг, голубку моя, и как же мы тебя удивили!

С этими словами Трухти, совсем запыхавшись, опустил девочку на пол посреди комнаты. Маленькая гостья взглянула в лицо Мэг и, сразу поверив всему, что увидела в этом лице, бросилась ей на шею.

– Раз-два-три, вот и мы! – прокричал Трухти, бегая по

комнате и громко отдуваясь. – Дядя Уилл, у огня-то теплее, что же вы не идете к огню? И раз-два-три, и вот и мы! Мэг, ненаглядная моя, а где чайник? Раз-два-три, вот и нашли, и сейчас он у нас вскипит!

Исполняя свой дикий танец, Трухти и вправду подхватил где-то чайник и поставил его на огонь; а Мэг, усадив девочку в теплый уголок, опустилась перед ней на колени и, сняв с нее башмаки, растирала ее промокшие нот. Да, и смеялась, глядя на Трухти, – смеялась так ласково, так весело, что Трухти мысленно призывал на нее благословение божие: ибо он заметил, что, когда они вошли, Мэг сидела у огня и плакала.

– Полно, отец! – сказала Мэг. – Ты сегодня, кажется, с ума сошел. Просто не знаю, что бы сказали на это колокола. Бедные ножки! Совсем заледенели.

– Они уже теплые! – воскликнула девочка. – Уже согрелись!

– Нет, нет, нет, – сказала Мэг. – Мы еще их как следует не растерли. Уж мы так стараемся, так стараемся! А когда согреем ножки – причешемся, вон как волосы-то отсырели; а когда причешемся – умоемся, чтобы бедные щечки размягчились; а когда умоемся, нам станет так весело, и тепло, и хорошо...

Девочка, всхлипнув, обхватила ее руками за шею, потом погладила по щеке и сказала:

– Мэг! Милая Мэг!

Это было лучше, чем благословение, которое призывал на нее Тоби. Лучше этого не могло быть ничего.

– Да отец же! – вдруг воскликнула Мэг.

– Раз-два-три, вот и мы, голубка! – отозвался Тоби.

– Господи помилуй! – вскричала Мэг. – Он в самом деле сошел с ума! Капором нашей малютки накрыл чайник, а крышку повесил за дверью!

– Это я нечаянно, милая, – сказал Тоби, поспешно исправляя свою ошибку. – Мэг, послушай-ка!

Мэг подняла голову и увидела, что он, предусмотрительно заняв позицию за стулом гостя, держит в руке заработанный шестипенсовик и делает ей таинственные знаки.

– Когда я входил в дом, милая, – сказал Тоби, – я приметил где-то на лестнице пакетик чаю; и сдается мне, там еще был кусочек грудинки. Не помню точно, где именно он лежал, но я сейчас выйду и попробую его разыскать.

Показав себя столь хитроумным политиком, Тоби отправился купить упомянутые им яства за наличный расчет в лавочке у миссис Чикенстокер; и вскоре вернулся, притворяясь, будто не сразу нашел их в темноте.

– Но теперь все тут, – сказал Тоби, ставя на стол чашки. – Все правильно. Мне так и показалось, что это чай и грудинка. Значит, я не ошибся. Мэг, душенька, если ты заваришь чай, пока твой недостойный отец поджаривает сало, все у нас будет готово в одну минуту. Странное это обстоятельство, – продолжал Тоби, вооружившись вилкой и приступая

кстряпне, – странное, хотя и известное всем моим знакомым: я лично не жалую грудинку, да и чай тоже. Я люблю смотреть, как другие ими балуются, а сам просто не нахожу в них вкуса.

Между тем Тоби принохивался к шипящему салу так, будто этот запах ему очень даже нравился; а заваривая чай в маленьком чайнике, он любовно заглянул в глубь этого уютного сосуда и не поморщился от ароматного пара, который ударил ему в нос и густым облаком окутал его лицо и голову. И однако же он не стал ни пить, ни есть, только попробовал кусочек для порядка и как будто бы даже облизнулся, тут же, впрочем, заявив, что ничего хорошего в грудинке не видит.

Нет. Дело Тоби было смотреть, как едят и пьют Уилл Ферн и Лилиен; и Мэг была занята тем же. И никогда еще зрители на банкете у лорд-мэра или на придворном обеде не испытывали такого наслаждения, глядя, как пируют другие, будь то хоть монарх или папа римский. Мэг улыбалась отцу, Тоби ухмылялся дочери. Мэг покачивала головой и складывала ладони, делая вид, что аплодирует Тоби; Тоби мимикой и знаками совершенно непонятно рассказывал Мэг, как, где и когда он повстречал этих гостей; и оба они были счастливы. Очень счастливы.

«Хоть я и вижу, – с огорчением думал Тоби, поглядывая на лицо дочери, – что свадьба-то расстроилась».

– А теперь вот что, – сказал Тоби после чая. – Малютка, ясное дело, будет спать с Мэг.

– С доброй Мэг! – воскликнула Лилиен, ластясь к девушке. – С Мэг.

– Правильно, – сказал Трухти. – И скорей всего она поцелует отца Мэг, верно? Отец Мэг – это я.

И как же доволен был Тоби, когда девочка робко подошла к нему и, поцеловав его, опять отступила под защиту Мэг.

– Какая умница, ну прямо царь Соломон, – сказал Тоби. – Раз-два-три, прочь пошли... да нет, не то. Я... Мэг, голубка, что это я хотел сказать?

Мэг взглядом указала на Ферна, который сидел рядом с ней и, отвернувшись от нее, ласкал детскую головку, уткнувшуюся ей в колени.

– Ну конечно, – сказал Тоби. – Конечно. Сам не знаю, с чего это я сегодня заговариваюсь. Не иначе как у меня ум за разум зашел, право. Уилл Ферн, идемте со мной. Вы устали до смерти, совсем разбиты, вам надо отдохнуть. Идемте со мной.

Ферн по-прежнему играл кудрями девочки, по-прежнему сидел рядом с Мэг, отвернувшись от нее. Он молчал, но движения его огрубелых пальцев, то сжимавших, то отпускавших светлые пряди, были красноречивее всяких слов.

– Да, да, – сказал Тоби, бессознательно отвечая на мысль, которую он прочел в лице дочери. – Бери ее к себе, Мэг. Уложи ее. Вот так! А теперь, Уилл, идемте, я вам покажу, где вы будете спать. Хоромы не бог весть какие – просто чердак; но я всегда говорю, что чердак – это одно из великих удобств

для тех, кто живет при каретнике с конюшнями; и квартира здесь дешевая, благо хозяин пока не сдал ее повыгоднее. На чердаке сколько угодно душистого сена, соседского, а уж чисто так, как только у Мэг бывает. Ну, веселей! Не вешайте голову. Дай бог вам нового мужества в новом году.

Дрожащая рука, перед тем ласкавшая ребенка, покорно легла на ладонь Тоби. И Тоби, ни на минуту не умолкая, отвел своего гостя спать так нежно, словно тот и сам был маленьким ребенком.

Воротившись в комнату раньше дочери, Тоби подошел к двери ее каморки и прислушался. Девочка читала молитву на сон грядущий; она помянула «милую Мэг», а потом спросила, как зовут его, отца.

Не сразу этот старый чудаक успокоился настолько, что собрался помешать угли и пододвинуть стул к огню. Проделав все это и сняв нагар со свечи, он достал из кармана газету и стал читать. Сперва только бегло проглядывая столбец за столбцом, потом – с большим вниманием и хмуро сдвинув брови.

Ибо злосчастная эта газета вновь направила его мысли в то русло, по которому они шли весь день, и в особенности после всего, чему он за этот день был свидетелем. Заботы о двух бездомных отвлекли его на время и дали более приятную пищу для ума; но теперь, когда он остался один и читал о преступлениях и бесчинствах, совершенных бедняками, мрачные мысли опять его одолели.



И тут ему (уже не впервые) попалось на глаза сообщение о том, как какая-то женщина в отчаянии наложила руки не только на себя, но и на своего младенца. Это преступление так возмутило его душу, переполненную любовью к Мэг, что он выронил газету и, потрясенный, откинулся на спинку стула.

– Как жестоко и противоестественно! – вскричал Тоби. – На такое способны только в корне дурные люди, люди, которые так и родились дурными, которым не должно быть места на земле. Все, что я слышал сегодня, – чистая правда; все это верно, и доказательств хоть отбавляй. Дурные мы люди!

Колокола подхватили его слова так неожиданно, зазвонили так явственно и громко, что казалось, они ворвались прямо в дом.

И что же они говорили?

«Тоби Вэк, Тоби Вэк, ждем тебя, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, ждем тебя, Тоби! Навести нас, навести нас! Поднимись к нам, поднимись к нам! Мы тебя разыщем, мы тебя разыщем! Полно спать, полно спать! Тоби Тоби Вэк, дверь открыта, Тоби! Тоби Вэк, Тоби дверь открыта, Тоби!..»

И опять сначала, еще яростней, так что гудел уже кирпич и штукатурка стен.

Тоби слушал. Наверно, ему померещилось. Просто это говорит его раскаяние, что он убежал от них нынче перед вечером. Да нет, это в самом деле их голоса! Снова и снова, и еще десять раз то же самое: «Мы тебя разыщем, мы тебя

разыщем! Поднимись к нам, поднимись к нам!» – оглушительно громко, на весь город.

– Мэг, – тихо сказал Тоби, постучав в ее дверь. – Ты что-нибудь слышишь?

– Слышу колокола, отец. Они сегодня вовсю раззвонились.

– Спит? – спросил Тоби, придумав себе повод, чтобы заглянуть в комнату.

– Сладким сном. Только я еще не могу отойти от нее. Видишь, как она крепко держит мою руку?

– Мэг, – прошептал Тоби. – Ты послушай как следует.

Она прислушалась. Тоби было видно ее лицо, ничего на нем не отразилось. Она их не понимала.

Тоби вернулся к огню, сел и опять стал слушать в одиночестве. Так прошло некоторое время.

Но выдержать это не хватало сил. Неистовство колоколов было страшно.

«Если дверь на колокольню и вправду отворена, – сказал себе Тоби, поспешно снимая фартук, но забыв прихватить шляпу, – почему бы мне не слазить туда, чтобы самому убедиться? Если она заперта, никаких других доказательств мне не нужно. Хватит и этого».

Он крадучись вышел на улицу, почти уверенный в том, что дверь на колокольню окажется закрытой и запертой, – ведь он хорошо ее знал, а отворенной видел за все время раза три, не больше. Это была низкая дверь в темном углу за

выступом, и висела она на таких больших железных петлях, а запиралась таким огромным замком, что замка и петель было больше, чем самой двери.

Велико же было удивление Тоби, когда он, подойдя с непокрытой головой к церкви, протянул руку в этот темный угол, шибко побаиваясь, что ее вот-вот кто-то схватит, и борясь с желанием тут же ее отдернуть, – и вдруг оказалось, что дверь, отворявшаяся наружу, не только не заперта, но даже приотворена!

Растерявшись от неожиданности, он сперва думал было вернуться, или сходить за фонарем, или позвать кого-нибудь с собой; но тотчас в нем заговорило природное мужество, и он решил идти один.

– Чего мне бояться? – сказал Трухти. – Ведь это же церковь! Может, просто звонари, входя, забыли затворить дверь.

И он пошел, нащупывая дорогу, как слепой, потому что было очень темно. И было очень тихо, потому что колокола молчали.

За порог намело с улицы кучи пыли, нога ступала по ней как по мягкому бархату, и от одного этого замирало сердце. Узкая лестница начиналась от самой двери, так что Тоби с первого же шагу споткнулся и при этом нечаянно толкнул дверь ногой; ударившись снаружи о стену, дверь с размаху захлопнулась, да так крепко, что он уже не мог открыть ее.

Однако это было лишним основанием для того, чтобы идти вперед. Тоби нащупал витую лестницу и пошел. Вверх,

вверх, вверх, кругом и кругом; все выше, выше, выше!

Нельзя сказать, чтобы подниматься ощупью по этой лестнице было приятно: она была такая узкая и крутая, что рука его все время на что-то натыкалась; и то и дело ему мерещился впереди человек или, может быть, призрак, бесшумно уступающий ему дорогу, так что он даже проводил рукой по гладкой стене вверх, ожидая нащупать лицо, и вниз, ожидая нащупать ноги, и мороз подирал его по коже. Несколько раз стена прерывалась нишей или дверью; пустоты эти чудились ему шириной во всю церковь, и он, пока снова не находил стену, ясно ощущал, будто стоит на краю пропасти и сейчас камнем свалится вниз.

Вверх, вверх, вверх; кругом и кругом; все выше, выше, выше.

Наконец в спертом, тяжелом воздухе пахнуло свежестью, потом потянул ветерок, потом задуло так сильно, что Тоби трудно стало держаться на ногах. Но он добрался до стрельчатого окна и, крепко ухватясь за что-то, глянул вниз; он увидел крыши домов, дым из труб, тусклые кляксы огней (там Мэг удивляется, куда он пропал, и, может быть, зовет его) – мутное месиво из тьмы и тумана.

То была вышка, куда поднимались звонари. А держался Тоби за одну из растрепанных веревок, свисавших сквозь отверстия в дубовом потолке. Сперва он вздрогнул, приняв ее за пук волос; потом затрепетал от одной мысли, что мог разбудить большой колокол. Самые колокола помещались вы-

ше. И Тоби, точно замороженный или послушный какой-то таинственной силе, полез выше, теперь уже по приставным лестницам, и с трудом, потому что лестницы были очень крутые и перекладины не слишком надежные.

Вверх, вверх, вверх; карабкаясь, цепляясь; все выше, выше, выше!

И вот, просунув голову между балками, он очутился среди колоколов. Огромные их очертания были едва различимы во мраке; но это были они. Призрачные, темные, немые.

Тоска и ужас стеснили его душу, едва он проник в это заоблачное гнездо из металла и камня. Голова у него кружилась. Он прислушался, а потом истошным голосом крикнул:

– Эй-эй-эй!

– Эй-эй-эй! – угрюмо откликнулось эхо. В смятении, задыхаясь от слабости и страха, Тоби огляделся невидящим взглядом и упал без чувств.

# Третья четверть

Темны тяжелые тучи и мутны глубокие воды, когда море сознания, пробуждаясь после долгого штиля, отдает мертвых, бывших в нем<sup>6</sup>. Чудища, вида странного и дикого, всплывают из глубин, воскресшие до времени, незавершенные; куски и обрывки несходных вещей перемешаны и спутаны; и когда, и как, и каким неисповедимым порядком одно отделяется от другого и всякое чувство, всякий предмет вновь обретает жизнь и привычный облик, – того не знает никто, хотя каждый из нас каждодневно являет собою вместилище этой великой тайны.

Вот почему нет никакой возможности рассказать, когда и как крошечная тьма колокольни сменилась сияющим светом; когда и как пустую башню населили несчетные создания; когда и как докучный шепот «мы тебя разыщем», шелестевший у Тоби над ухом во время его сна или обморока, перешел в громкий и явственный возглас «полно спать!», когда и как рассеялось владевшее им смутное ощущение, что такого не бывает, хотя, с другой стороны, вот же все-таки оно есть. Но сейчас он не спал и, стоя на тех самых досках, на которые давеча свалился замертво, видел перед собой кол-

---

<sup>6</sup> ...отдает мертвых, бывших в нем... – намек на библейское «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим».

довское зрелище.

Он видел, что башня, куда его занесли замороженные ноги, кишмя кишит крошечными призраками, эльфами, химерами колоколов. Он видел, как они непрерывно сыплются из колоколов – вылетают из них, выскакивают, падают. Видел их вокруг себя на полу, и в воздухе над собою; они удирали от него вниз по веревкам, смотрели па него сверху, с толстых балок, опоясанных железными скобами; заглядывали к нему через амбразуры и щели; расходились от него кругами, как вода от брошенного камня. Он видел их во всевозможных обличьях. Были среди них уродцы и пригожие собой, скрюченные и стройненькие. Были молодые и старые, добрые и жестокие, веселые и сердитые: он видел, как они пляшут, и слышал, как они поют; видел, как они рвут на себе волосы, и слышал, как они воют. Они роем вились в воздухе. Беспре- станно появлялись и исчезали. Скатывались вниз, взлетали кверху, уплывали вдаль, лезли под нос, проворные и неутомимые. Тоби Вэку, так же, как им, все было видно сквозь камень и кирпич, грифель и черепицу. Он видел их в домах, хлопчущими около спящих. Видел, как одних они успокаивают во сне, а других стегают плетками; одним орут что-то в уши, другим улаживают слух тихой музыкой; одних веселят птичьим щебетом и ароматом цветов; на других, чей сон и без того тревожен, выпускают страшные рожи из волшебных зеркал, которые держат в руках.

Он видел этих призраков не только среди спящих, но и

среди бодрствующих, видел их за делами несовместными и в обличьях самых противоречивых. Он видел, как один из них пристегнул множество крыльев, чтобы летать быстрее, а другой навесил на себя цепи и гири, чтобы лететь медленнее. Видел, как одни передвигали часовые стрелки вперед, другие назад, третьи же пытались вовсе остановить часы. Видел, как они разыгрывали тут свадьбу, а там похороны, в этой зале – выборы, а в той – бал; он видел их повсюду, в сплошном, неустанном движении.

Совсем ошалев от этого сонма юрких, удивительных тварей и от гама колоколов, все время оглушительно трезвонивших, Тоби прислонился к деревянной подпорке, чтобы не упасть, и бледный, в немом изумлении, озирался по сторонам.

Вдруг колокола смолкли. Мгновенная перемена! Весь рой обессилел; крошечные создания съежились, проворства их как не бывало; они пробовали взлететь, но тут же никли, умирали и растворялись в воздухе, а новых не возникало. Один, правда, еще довольно бойко спрыгнул с большого колокола и упал на ноги, но не успел он двинуться с места, как уже умер и пропал из глаз. Несколько штук из тех, что совсем недавно резвились на колокольне, оказались чуть долговечнее, – они еще вертелись и вертелись, но с каждым поворотом слабели, бледнели, редели и вскоре последовали за остальными. Дольше всех храбрился малюсенький горбун, который забрался в угол, где еще жило эхо; там он долго кру-



тился и подскакивал совсем один и проявил такое упорство, что перед тем, как ему окончательно раствориться, от него еще оставалась ножка, потом носок башмачка; но в конце концов исчез и он, и колокольня затихла.

Тогда и только тогда старый Тоби заметил в каждом колоколе бородатую фигуру такой же, как колокол, формы и такую же высокую. Непостижимым образом то были и фигуры и колокола; и огромные, важные, они не сводили взгляда с застывшего от ужаса Тоби.

Таинственные, грозные фигуры! Они ни на чем не стояли, но повисли в ночном воздухе, и головы их, скрытые капюшонами, тонули во мраке под крышей. Они были недвижимые, смутные; смутные и темные, хотя он видел их при странном свете, исходившем от них же – другого света не было, – и все прижимали скрытый в черных складках покрывала палец к незримым губам.

Он не мог ринуться прочь от них через отверстие в полу, ибо способность двигаться совершенно его оставила. Иначе он непременно бы это сделал – да что там, он бросился бы с колокольни вниз головой, лишь бы скрыться от взгляда, который они на него устремили, который не отпустил бы его, даже если б вырвать у них глаза.

Снова и снова неизъяснимый ужас, притаившийся на этой уединенной вышке, где властвовала дикая, жуткая ночь, касался его, как ледяная рука мертвеца. Что всякая помощь далеко; что от земли, где живут люди, его отделяет беско-

нечная темная лестница, на каждом повороте которой сторожит нечистая сила; что он один, высоко-высоко, там, где днем летают птицы и голова кружится на них смотреть; что он отторгнут от всех добрых людей, – в такой час они давно разошлись по домам, заперли двери и спят; – все это он ощутил сразу, и его словно пронизало холодом. А тем временем и страхи его, и мысли, и глаза были прикованы к загадочным фигурам. Глубокий мрак, обволакивающий их, да и самая их форма и сверхъестественная их способность держаться в воздухе делали их не похожими ни на какие другие образы нашего мира; однако видны они были столь же ясно, как крепкие дубовые рамы, подпоры, балки и брусья, на которых висели колокола. Их окружал целый лес обтесанных деревьев; и из глубины его, из этой путаницы и переплетения, как из чаши мертвого бора, сгубленного ради их таинственных целей, они грозно и не мигая смотрели на Тоби.

Порыв ветра – о, какой холодный и резкий! – со стоном налетел на башню. И когда он замер, большой колокол, или дух большого колокола, заговорил.

– Кто к нам явился? – Голос был низкий, гулкий, и Тоби показалось, что он исходит из всех колоколов сразу.

– Мне слышалось, что колокола зовут меня, – сказал Тоби, умоляюще воздев руки. – Сам не знаю, зачем я здесь и как сюда попал. Уже сколько лет я слушаю, что говорят колокола. Они часто утешали меня.

– А ты благодарил их? – спросил колокол.

– Тысячу раз! – воскликнул Тоби.

– Как?

– Я бедный человек, – застыдился Тоби, – я мог благодарить их только словами.

– И ты всегда это делал? – спросил дух колокола. – Никогда не грешил на нас?

– Никогда! – горячо вскричал Тоби.

– Никогда не грешил на нас скверными, лживыми, злыми словами?

Тоби уже готов был ответить: «Никогда!», но осекся и смешался.

– Голос Времени, – сказал дух, – призывает к человеку: «Иди вперед!» Время хочет, чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось Время и начался человек. Долгие века зла, темноты и насилия сменяли друг друга, несчетные множества людей мучились, жили и умирали, чтобы указать человеку путь. Кто тщится преградить ему дорогу или повернуть его вспять, тот пытается остановить мощную машину, которая убьет дерзкого насмерть, а сама, после минутной задержки, заработает еще более неукротимо и яростно.

– У меня и в мыслях такого не было, сэр, – сказал Трухти. – Если я сделал это, так как-нибудь невзначай. Нарочно нипочем не стал бы.

– Кто вкладывает в уста Времени или слуг его, – продолжал дух, – сетования о днях, тоже знавших невзгоды и падения и оставивших по себе глубокий и печальный след, видимый даже слепому, – сетования, которые служат настоящему только тем, что показывают людям, как нужна их помощь, раз кто-то способен сожалеть даже о таком прошлом, – кто это делает, тот грешит. И в этом ты согрешил против нас, колоколов.

Страх Тоби начал утихать. Но он, как вы знаете, всегда питал к колоколам любовь и признательность; и когда он услышал обвинение в том, что так жестоко их обидел, сердце его исполнилось раскаянья и горя.

– Если б вы знали, – сказал Тоби, смиренно сжав руки, – а может, вы и знаете... если вы знаете, сколько раз вы коротали со мной время; сколько раз вы подбадривали меня, когда я готов был пасть духом; как служили забавой моей маленькой дочке Мэг (других-то забав у нее почти и не было), когда умерла ее мать и мы с ней остались одни, – вы не попомните зла за безрассудное слово.

– Кто услышит в нашем звоне пренебрежение к надеждам и радостям, горестям и печалям многострадальной толпы; кому послышится, что мы соглашаемся с мудрецами, меряющими человеческие страсти и привязанности той же меркой, что и жалкую пищу, на которой человечество хиреет и чахнет, – тот грешит. И в этом ты согрешил против нас! – сказал колокол.

– Каюсь! – сказал Трухти. – Простите меня!

– Кому слышится, будто мы вторым слепым червям земли, упразднителям тех, кто придавлен и сломлен, но кому предназначено быть вознесенными на такую высоту, куда этим мокрицам времени не заползти даже в мыслях, – продолжал дух колокола, – тот грешит против нас. И в этом грехе ты повинен.

– Невольный грех, – сказал Тоби. – По невежеству. Невольно.

– И еще одно, а это важнее всего, – продолжал колокол. – Кто отвращается от падших и изувеченных своих собратьев; отрекается от них, как от скверны, и не хочет проследить сострадательным взором открытую пропасть, в которую они скатились из мира добра, цепляясь в своем падении за травинки и кочки утраченной этой земли, и не выпускали их даже тогда, когда умирали, израненные, глубоко на дне, – тот грешит против бога и человека, против времени и вечности. И в этом грехе ты повинен.

– Сжальтесь надо мной! – вскричал Тоби, падая на колени. – Смилуйтесь!

– Слушай! – сказала тень.

– Слушай! – подхватили остальные тени.

– Слушай! – произнес ясный детский голос, показавшийся Тоби знакомым.

Внизу, в церкви, слабо зазвучал орган. Постепенно нарастая, мелодия его достигла крыши, заполнила хоры и неф.

Она все ширилась, поднималась выше и выше, вверх, вверх, вверх, будя растревоженные сердца дубовых балок, гулких колоколов, окованных железом дверей, прочных каменных лестниц; и, наконец, когда стены башни уже не могли вместить ее, взмыла к небу.

Не удивительно, что и грудь старика не могла вместить такого могучего, огромного звука. Он вырвался из этой хрупкой тюрьмы потоком слез; и Трухти закрыл лицо руками.

– Слушай! – сказала тень.

– Слушай! – сказали остальные тени.

– Слушай! – сказал детский голос. На колокольню донеслось торжественное пение хора. Пели очень тихо и скорбно – за упокой, – и Тоби, вслушавшись, различил в этом хоре голос дочери.

– Она умерла! – воскликнул старик. – Мэг умерла! Ее дух зовет меня! Я слышу!

– Дух твоей дочери, – сказал колокол, – оплакивает мертвых и общается с мертвыми – мертвыми надеждами, мертвыми мечтами, мертвыми грезами юности; но она жива. Узнай по ее жизни живую правду. Узнай от той, кто тебе всех дороже, дурными ли родятся дурные. Узнай, как даже с прекраснейшего стебля срывают один за другим бутоны и листья и как он сохнет и вянет. Следуй за ней! До роковой черты!

Темные фигуры все как одна подняли правую руку и указали вниз.

– Призрак дней прошедших и грядущих будет тебе спут-

ником, – сказал голос. – Иди. Он стоит за тобой.

Тоби оглянулся и увидел... девочку? Девочку, которую нес на руках Уилл Ферн! Девочку, чей сон – вот только что – охраняла Мэг!

– Я сам сегодня нес ее на руках, – сказал Трухти.

– Покажи ему, что такое он сам, – сказали в один голос темные фигуры.

Башня разверзлась у его ног. Он глянул вниз, и там, далеко на улице, увидел себя, разбившегося и недвижимого.

– Я уже не живой! – вскричал Трухти. – Я умер!

– Умер! – сказали тени.

– Боже милостивый! А новый год...

– Проще, – сказали тени.

– Как! – крикнул он, содрогаясь. – Я забрел не туда, осту-  
пился в темноте и упал с колокольни... год назад?

– Девять лет назад, – ответили тени.

Отвечая, они опустили простертые руки; там, где только что были темные фигуры, теперь висели колокола.

И звонили: им опять пришло время звонить. И опять сон-  
мы эльфов возникли неизвестно откуда, опять они были за-  
няты диковинными своими делами, а едва смолкли колоко-  
ла, опять стали бледнеть, пропадать из глаз, и растворились  
в воздухе.

– Кто они? – спросил Тоби. – Я наверно сошел с ума, но  
если нет, кто они такие?

– Голоса колоколов. Колокольный звон, – отвечала девоч-

ка. – Их дела и обличья – это надежды и мысли смертных, и еще – воспоминания, которые у них накопились.

– А ты? – спросил ошеломленно Трухти. – Кто ты?

– Тише, – сказала девочка. – Смотри!

В бедной, убогой комнате, склонившись над таким же вышиванием, какое он часто, часто видел у нее в руках, сидела Мэг, его родная, нежно любимая дочь. Он не пытался поцеловать ее; не пробовал прижать ее к сердцу; он знал, что это отнято у него навсегда. Но он, весь дрожа, затаил дыхание и смахнул набежавшие слезы, чтобы разглядеть ее получше. Чтобы только видеть ее.

Да, она изменилась. Как изменилась! Ясные глаза потускнели. Свежие щеки увяли. Красива по-прежнему, но надежда, где та молодая надежда, что когда-то отдавалась в его сердце, как голос!

Мэг оторвалась от пялец и взглянула на кого-то. Проследив за ее взглядом, старик отшатнулся.

Он сразу узнал ее в этой взрослой женщине. Так же завивались кудрями длинные шелковистые волосы; те же были полураскрытые детские губы. Даже в глазах, обращенных с вопросом к Мэг, светился тот же взгляд, каким она всматривалась в эти черты, когда он привел ее к себе в дом!

Тогда кто же это здесь, рядом с ним?

С трепетом заглянув в призрачное лицо, он увидел в нем что-то... что-то торжественное, далекое, смутно напоминавшее о той девочке, как напоминала ее и женщина, глядевшая



на Мэг; а между тем это была она, да, она; и в том же платье.

Но тише! Они разговаривают!

– Мэг, – нерешительно сказала Лилиен, – как часто ты поднимаешь голову от работы, чтобы взглянуть на меня!

– Разве мой взгляд так изменился, что пугает тебя? – спросила Мэг.

– Нет, родная. Ты ведь и спрашиваешь это только в шутку. Но почему ты не улыбаешься, когда смотришь на меня?

– Да я улыбаюсь. Разве нет? – отвечала Мэг с улыбкой.

– Сейчас – да, – отвечала Лилиен. – Но когда ты думаешь, что я работаю и не вижу тебя, лицо у тебя такое грустное, озабоченное, что я и смотреть на тебя боюсь. Жизнь наша тяжелая, трудная, и улыбаться нам мало причин, но раньше ты была такая веселая!

– А сейчас разве нет? – воскликнула Мэг с непонятной тревогой и, поднявшись, обняла девушку. – Неужели из-за меня наша тоскливая жизнь кажется тебе еще тоскливее?

– Если бы не ты, у меня бы никакой жизни не было! – сказала Лилиен, пылко ее целуя. – Если бы не ты, я бы, кажется, и не захотела больше так жить. Работа, работа, работа! Столько часов, столько дней, столько долгих-долгих ночей безнадежной, безотрадной, нескончаемой работы – и для чего? Не ради богатства, не ради веселой, роскошной жизни, не ради достатка, пусть самого скромного; нет, ради хлеба, ради жалких грошей, которых только и хватает на то, чтобы снова работать, и во всем нуждаться, и думать о нашей горь-

кой доле! Ах, Мэг! – Она заговорила громче и стиснула руки на груди, словно от сильной боли. – Как может жестокий мир существовать и равнодушно смотреть на такую жизнь!

– Лилли! – сказала Мэг, успокаивая ее и откидывая ей волосы с лица, залитого слезами. – Лилли! И это говоришь ты, такая молодая, красивая!

– В том-то и ужас, Мэг! – перебила девушка, отпрянув и умоляюще глядя ей в лицо. – Преврати меня в старуху, Мэг! Сделай меня сморщенной, дряхлой, избавь от страшных мыслей, которые смущают меня, молодую!

Трухти повернулся к своей спутнице. Но призрак девочки обратился в бегство. Исчез.

И сам он уже находился совсем в другом месте. Ибо сэр Джозеф Баули, Друг и Отец бедняков, устроил пышное празднество в Баули-Холле по случаю дня рождения своей супруги. А поскольку леди Баули родилась в первый день года (в чем местные газеты усматривали перст провидения, повелевшего леди Баули всегда и во всем быть первой), то и празднество это происходило на Новый год.

Баули-Холл был полон гостей. Явился краснолицый джентльмен, явился мистер Файлер, явился достопамятный олдермен Кьют, – этот последний питал склонность к великим мира сего и благодаря своему любезному письму весьма сблизился с сэром Джозефом Баули, стал прямо-таки другом этой семьи, – явилось и еще множество гостей. Явился и бедный невидимый Трухти и бродил по всему дому унылым

привидением, разыскивая свою спутницу.

В великолепной зале шли приготовления к великолепному пиру, во время которого сэр Джозеф Баули, общепризнанный Друг и Отец бедняков, должен был произнести великолепную речь. До этого его Друзьям и Детям предстояло съесть известное количество пудингов в другом помещении; затем по данному знаку Друзья и Дети, влившись в толпу Друзей и Отцов, должны были образовать семейное собрание, в коем ни один мужественный глаз не останется не увлажненным слезой умиления.

Но это не все. Даже это еще не все. Сэр Джозеф Баули, баронет и член парламента, должен был сыграть в кегли – так-таки сразиться в кегли – со своими арендаторами!

– Невольно вспоминаются дни старого короля Гарри, – сказал по этому поводу олдермен Кьют. – Славный был король, добрый король. Да. Вот это был молодец.

– Безусловно, – сухо подтвердил мистер Файлер. – По части того, чтобы жениться и убивать своих жен. Кстати сказать, число жен у него было значительно выше среднего<sup>7</sup>.

– Вы-то будете брать в жены прекрасных леди, но не станете убивать их, верно? – обратился олдермен Кьют к наследнику Баули, имевшему от роду двенадцать лет. – Милый мальчик! Мы и оглянуться не успеем, – продолжал олдер-

---

<sup>7</sup> ...число жен у него было значительно выше среднего. – Генрих VIII был женат шесть раз. С двумя из своих жен он развелся, две других были казнены по его приказу.

мен, положив руки ему на плечи и приняв самый глубокомысленный вид, – как этот маленький джентльмен пройдет в парламент. Мы услышим о его победе на выборах; о его речах в палате лордов; о лестных предложениях ему со стороны правительства, о всевозможных блестящих его успехах. Да, не успеем мы оглянуться, как будем по мере своих скромных сил возносить ему хвалу на заседаниях городского управления. Помяните мое слово!

«Ох, какая же большая разница между обутыми и босыми!» – подумал Тоби. Но сердце его потянулось даже к этому ребенку: он вспомнил о босоногих мальчишках, которым предназначено было (олдерменом) вырасти преступниками и которые могли бы быть детьми бедной Мэг.

– Ричард, – стонал Тоби, блуждая среди гостей. – Где он? Я не могу найти Ричарда! Где Ричард?

Казалось бы, что здесь делать Ричарду, даже если он еще жив? Но от тоски и одиночества Тоби совсем потерял голову; и все блуждал среди нарядных гостей, ища свою спутницу и повторяя:

– Где Ричард? Покажи мне Ричарда! Во время этих блужданий навстречу ему попался доверенный секретарь мистер Фиш, страшно взволнованный.

– Что же это такое! – воскликнул мистер Фиш. – Где олдермен Кьют? Видел кто-нибудь олдермена?

Видел ли кто олдермена? Да полно, разве кто-нибудь мог не увидеть олдермена? Он был так обходителен, так любезен,

так твердо помнил о естественном для каждого человека желании видеть его, что, пожалуй, единственный его недостаток в том и состоял, что он все время был на виду. И где бы ни находились великие мира сего, там же, в силу сродства избранных душ, находился и Кьют.

Несколько голосов крикнуло, что он – в том кружке, что собрался возле сэра Джозефа. Мистер Фиш направился туда, нашел его и потихоньку отвел к ближайшему окну. Трухти последовал за ними. Не умышленно. Ноги сами понесли его в ту сторону.

– Дорогой олдермен Кьют! – сказал мистер Фиш. – Отойдем еще подальше. Произошло нечто ужасное. Мне только сию минуту дали знать. Думаю, что сэру Джозефу лучше не сообщать об этом до конца праздника. Вы хорошо знаете сэра Джозефа и посоветуете мне, как быть. Поистине страшное и прискорбное событие!

– Фиш! – сказал олдермен. – Фиш, дорогой мой, что случилось? Надеюсь, ничего революционного? Никто не... не покушался на, полномочия мировых судей?

– Дидлс, банкир... – пролепетал Фиш. – Братья Дидлс... его сегодня здесь ждали... занимал такой высокий пост в Пробирной палатке...

– Неужели прекратил платежи? – вскричал олдермен. – Быть не может!

– Застрелился.

– Боже мой!

– У себя в конторе, – сказал мистер Фиш. – Сунул в рот двуствольный пистолет и спустил курок. Причин – никаких. Был всем обеспечен.

– Обеспечен! – воскликнул олдермен. – Да он был богатейший человек. Почтеннейший человек. Самоубийство! От собственной руки!

– Сегодня утром, – подтвердил Фиш.

– О бедный мозг! – воскликнул олдермен, набожно воздев руки. – О нервы, нервы! Тайны машины, называемой человеком! О, как мало нужно, чтобы нарушить ее ход, – несчастные мы создания! Возможно, неудачный обед, мистер Фиш. Возможно, поведение его сына, – я слышал, что этот молодой человек вел беспутный образ жизни и взял в привычку выдавать векселя на отца, не имея на то никакого права! Такой почтенный человек! Один из самых почтенных, каких я только знал! Это потрясающий случай, мистер Фиш. Это общественное бедствие! Я не премину надеть глубокий траур. Такой почтенный человек! Однако на все воля божия. Мы должны покоряться, мистер Фиш. Должны покоряться!

Как, олдермен! Ни слова о том, чтобы упразднить? Вспомни, праведный судья, как ты гордился и хвастал своей высокой нравственностью. Ну же, олдермен! Уравновесь чашки весов. Брось-ка на эту, пустую, меня, да голод, да какую-нибудь бедную женщину, у которой нужда и лишения иссушили жизненные соки, сделали ее глухой к слезам ее отпрысков, хотя они-то имели право на ее участие, право, дарованное

святой матерью Евой. Взвесь то и другое, ты, Даниил<sup>8</sup>, когда придет твой час предстать перед Страшным судом! Взвесь то и другое на глазах у тысяч страдальцев, для которых ты разыгрываешь свой жестокий фарс, и не думай, будто их так легко обмануть. А что, если у тебя самого помрачится разум – долго ли? – и ты перережешь себе горло в назидание своим сытым собратьям (если есть у тебя собратья), чтобы они поосторожнее читали мораль удрученным и отчаявшимся. Что тогда?

Слова эти возникли в сердце у Тоби, точно произнесенные не его, а чьим-то чужим голосом. Олдермен Кьют заверил мистера Фиша, что поможет ему сообщить о печальном происшествии сэру Джозефу, когда кончится праздник. На прощанье, в сокрушении душевном стиснув руку мистера Фиша, он еще раз сказал: «Такой почтенный человек!» И добавил, что ему (даже ему!) непонятно, как допускаются на земле подобные несчастья.

– Впору предположить, хоть это, конечно, и не так, – сказал олдермен Кьют, – что временами в природе совершаются какие-то страшные сдвиги, влияющие на всю систему общественного устройства. Братья Дидлс!

Игра в кегли прошла с огромным успехом. Сэр Джозеф сбивал кегли весьма искусно; его наследник тоже бросил

---

<sup>8</sup> *Взвесь то и другое, ты, Даниил...* – намек на библейского пророка Даниила, который истолковал таинственную надпись, появившуюся на стене дворца царя Валтасара. Часть надписи гласила: «Ты взвешен на весах и найден очень легким».

шар, с более близкого расстояния; и все признали, что раз уж баронет и сын баронета играют в кегли, значит дела в стране поправляются, и притом очень быстро.

В надлежащее время был подан обед. Трухти, сам не рная зачем, тоже направился в залу, – его повлекло туда нечто, бывшее сильнее собственной его воли. Зала представляла собой прелестную картину; дамы были одна другой красивее; все гости – довольны, веселы и благодушны. Когда же в дальнем конце залы отворились двери и в них хлынули жители деревни в своих крестьянских костюмах, зрелище стало совершенно уже восхитительным. Но Тоби ни на что не смотрел, а только продолжал шептать: «Где Ричард? Он бы должен помочь ей, утешить ее! Я не вижу Ричарда!»

Уже было предложено несколько тостов; уж выпили за здоровье леди Баули; уже сэр Джозеф Баули поблагодарил гостей и произнес свою великолепную речь, в которой привел разнообразные доказательства тому, что он прирожденный Друг и Отец и прочее; и сам предложил тост: за своих Друзей и Детей и за благородство труда, – как вдруг внимание Тоби привлекло легкое замешательство в конце залы. После недолгой суеты, шума и пререканий какой-то человек протиснулся сквозь толпу и выступил вперед.

Не Ричард. Нет. Но и об этом человеке Тоби много раз думал, пытался его разыскать. При менее ярком свете Тоби, возможно, не сообразил бы, кто этот изможденный мужчина, такой старый, седой, ссутулившийся; но сейчас, когда десят-



ки ламп озаряли его большую шишковатую голову, он тотчас признал Уилла Ферна.

– Что такое! – вскричал сэр Джозеф, вставая с места. – Кто впустил сюда этого человека? Это преступник, только что из тюрьмы! Мистер Фиш, будьте так добры, займитесь...

– Одну минуту! – сказал Уилл Ферн. – Одну минуту! Миледи, нынче день рожденья – ваш и нового года. Разрешите мне сказать слово.

Она вступилась за него. Сэр Джозеф с присущим ему достоинством снова опустился на стул.

Гость-оборванец – одежда на нем была вся в лохмотьях – оглядел собравшихся и смиренно им поклонился.

– Добрые господа! – сказал он. – Вы пили за здоровье рабочего человека. Посмотрите на меня!

– Прямехонько из тюрьмы, – сказал мистер Фиш.

– Прямехонько из тюрьмы, – подтвердил Ферн. – И не в первый раз, не во второй, не в третий, даже не в четвертый.

Тут мистер Файлер брюзгливо заметил, что четыре раза это уже выше среднего и как, мол, не стыдно.

– Добрые господа! – повторил Уилл Ферн. – Посмотрите на меня! Вы видите, на что я стал похож – хуже некуда, мне теперь ни повредить больше нельзя, ни помочь; то время, когда ваши милостивые слова и благодеяния могли принести пользу мне, – он ударил себя в грудь и потрянул головой, – то время ушло, развеялось, как запах прошлогоднего клевера. Я хочу замолвить слово за них, – он указал на работников,

столпившихся в углу зала, – сейчас вы тут все в сборе, так выслушайте раз в жизни настоящую правду.

– Здесь не найдется никого, – сказал хозяин дома, – кто уполномочил бы этого человека говорить от его имени.

– Очень может быть, сэра Джозеф. Я тоже так думаю. Но это не значит, что в моих словах нет правды. Может, как раз это-то их и подтверждает. Добрые господа, я прожил в этих местах много лет. Вон от той канавы виден мой домишко. Сколько раз нарядные леди срисовывали его в свои альбомы. Говорят, на картинках он получается очень красиво; но на картинках нет погоды, вот и выходит, что куда лучше его срисовывать, чем в нем жить. Ну ладно, я в нем жил. Как трудно и тяжело мне там жилось, про это я не стану рассказывать. Можете убедиться сами, в любой день, когда угодно.

Он говорил так же, как в тот вечер, когда Тоби встретил его на улице. Голос его стал более глухим и хриплым и временами дрожал; но ни разу он не поднялся до страстного крика, а звучал сурово и обыденно, под стать тем обыденным фактам, которые он излагал.

– Вырасти в таком доме порядочным, мало-мальски порядочным человеком труднее, чем вы думаете, добрые господа. Что я вырос человеком, а не зверем, – и то хорошо; это, как-никак, похвала мне... такому, каким я был. А какой я стал – такого меня и хвалить не за что, и сделать для меня уже ничего нельзя. Кончено.

– Я рад, что этот человек пришел сюда, – заметил сэра Джо-

зеф, обводя своих гостей безмятежным взглядом. – Не прерывайте его. Видимо, такова воля всевышнего. Перед нами пример, живой пример. Я надеюсь, я верю и жду, что мои друзья усмотрят в нем назидание.

– Я выжил, – вновь заговорил Ферн после минутного молчания. – Как – и сам не знаю, и никто не знает; но до того мне было трудно, что я не мог делать вид, будто я всем доволен, или прикидываться не тем, что я есть. Ну, а вы, джентльмены, что заседаете в судах, когда вы видите, что у человека на лице написано недовольство, вы говорите друг другу: «Это подозрительный субъект. Этот Уилл Ферн мне что-то не нравится. Надо за ним последить!» Удивляться тут нечему, джентльмены, я просто говорю, что это так; и уж с этого часа все, что Уилл Ферн делает и чего не делает, – все обобщается против него.

Олдермен Кьют засунул большие пальцы в карманы жилета и, откинувшись на стуле, с улыбкой подмигнул ближайшему канделябру, словно говоря: «Ну конечно! Я же вам говорил. Старая песня. Все это нам давно знакомо – и мне и человеческой природе».

– А теперь, джентльмены, – сказал Уилл Ферн, протянув к ним руки, и бледное лицо его на мгновение залилось краской, – вспомните ваши законы, ведь они как нарочно придуманы для того, чтобы травить нас и расставлять нам ловушки, когда мы дойдем до такого положения. Я пробую перебраться в другое место. И оказываюсь бродягой. В тюрьму

его! Я возвращаюсь сюда. Иду в ваш лес за орехами и ломаю несколько веток – с кем не случается! В тюрьму его! Один из ваших сторожей видит меня среди бела дня с ружьем, около моего же огорода. В тюрьму его! Вышел из тюрьмы и, само собой, обругал этого сторожа как следует. В тюрьму его! Я срезал палку. В тюрьму его! Подобрал и съел гнилое яблоко или репу. В тюрьму его! Обратно идти двадцать миль; по дороге попросил милостыню. В тюрьму его! А потом уж где бы я ни был, что бы ни делал, непременно попадаюсь на глаза то констеблю, то сторожу, то еще кому-нибудь. В тюрьму его, он бродяга, сколько раз сидел за решеткой, у него и дома-то нет, кроме тюрьмы.

Олдермен глубокомысленно кивнул, как бы говоря: «Что ж, дом самый подходящий!»

– Ради кого я это говорю, неужели ради себя? – воскликнул Ферн. – Кто вернет мне мою свободу, мое доброе имя, невинность моей племянницы! Тут бессильны все лорды и леди, сколько их ни есть в Англии. Но прошу вас, добрые господа, когда имеете дело с другими, подобными мне, начинайте не с конца, а с начала. Дайте, прошу вас, сносные дома тем, кто еще лежит в колыбели; дайте сносную пищу тем, кто трудится в поте лица; дайте более человеческие законы, чтобы не губить нас за первую же провинность, и не гоните нас за каждый пустяк в тюрьму, в тюрьму, в тюрьму! Тогда мы будем с благодарностью принимать всякое снисхождение, какое вы пожелаете оказать рабочему человеку, – ведь сердце у

него незлое, терпеливое и отзывчивое. Но сперва вы должны спасти в нем живую душу. Ибо сейчас – пусть это пропащий, как я, или один из тех, что здесь собрались, – все равно, душой он не с вами. Верните себе его душу, господа, верните! Не дожидайтесь того дня, когда даже в библии его помутившемуся разуму почудится не то, что было в ней раньше, и знакомые слова предстанут его глазам такими, как они представляли иногда моим глазам... в тюрьме: «Куда ты пойдешь, туда я не пойду; где ты будешь жить, там я не буду жить; народ твой – не мой народ, и твой бог – не мой бог!»<sup>9</sup>

Внезапно в зале началось какое-то волнение и суета. Тоби подумал было, что это гости повскакали со своих мест, чтобы выгнать Ферна. Но в следующую минуту и зала и гости исчезли, и перед ним снова сидела его дочь, склонившись над работой. Только теперь каморка ее была другая, совсем уже нищенская; и Лилиен рядом с ней не было.

Пяльцы, за которыми Лилиен когда-то работала, были убраны на полку и прикрыты. Стул, на котором она сидела, – повернут к стене. В этих мелочах и в осунувшемся от горя лице Мэг была целая повесть. Каждый прочел бы ее с первого взгляда!

Мэг прилежно трудилась, пока не стемнело, а когда перестала различать нити, зажгла грошовую свечу и опять при-

---

<sup>9</sup> «Куда ты пойдешь, туда я не пойду... твой бог не мой бог!» – парафраза библейского текста. Руфь, отказавшись после смерти мужа вернуться в свой родной дом, говорит свекрови: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой бог – моим богом».

нялась за работу. Старый ее отец, невидимый, все стоял возле нее, смотрел на нее, любил ее – так любил! – и ласковым голосом говорил ей что-то про прежние дни и про колокола. Хотя он и знал – бедный Трухти! – что она его не слышит.

Уже совсем поздно вечером в дверь постучали. Мэг отворила. На пороге стоял мужчина. Угрюмый, пьяный, неопрятный, истасканный, со свалывшимися волосами и нестриженной бородой; но по каким-то признакам еще можно было угадать, что в молодости он был ладный и красивый.

Он стоял, ожидая разрешения войти, а она, отступив на шаг от двери, смотрела на него молча и печально. Желание Тоби исполнилось: он увидел Ричарда.

– Можно к тебе, Маргарет?

– Да. Войди. Войди!

Хорошо, что Тоби знал его раньше, чем он заговорил; не то, услышав этот грубый, сиплый голос, он бы ни за что не поверил, что перед ним Ричард.

В комнате было только два стула. Мэг уступила ему свой, а сама, отойдя немного в сторону, стояла и ждала, что он скажет. Но он сидел, тупо уставясь в пол, с застывшей, бессмысленной улыбкой. Он являл собой картину такого глубокого падения, такой предельной безнадежности, такого жалкого позора, что она закрыла лицо руками и отвернулась, чтобы скрыть свою боль.

Очнувшись от шороха ее платья или другого какого-то звука, он поднял голову и заговорил, словно только сейчас

переступил порог.

– Все за работой, Маргарет? Поздно ты кончаешь.

– Как всегда.

– А начинаешь рано?

– Начинаю рано.

– Вот и она так говорит. Говорит, что ты никогда не уставала; или не признавалась, что устала. Это когда вы жили вместе. Даже если падала в обморок от усталости и голода. Но это я тебе уже рассказывал в прошлый раз.

– Да, – отвечала она. – А я просила тебя больше ничего мне не рассказывать; и ты мне поклялся, Ричард, что не будешь.

– Поклялся, – повторил он с пьяным смехом, глядя на нее пустыми глазами. – Поклялся. Вот-вот. Поклялся! – Потом, точно снова очнувшись, сказал с неожиданной горячностью: – А как же мне быть, Маргарет? Как же мне быть? Она опять ко мне приходила!

– Опять! – воскликнула Мэг, всплеснув руками. – Значит, она так часто обо мне вспоминает! Опять приходила?

– Сколько раз, Маргарет, она не дает мне покою. Нагоняет меня на улице и сует мне в руку. Когда я работаю (ха-ха, это не часто бывает), она подходит ко мне тихонько по золе и шепчет мне в ухо: «Ричард, не оглядывайся. Ради всего святого, передай ей это». Приносит мне на квартиру, посылает в письмах; иногда стукнет в окно и положит на подоконник. Что я могу поделывать? Вот, гляди!

Он протянул ей маленький кошелек и подкинул его на ладони, так что в нем забренчали монеты.

– Спрячь его, – сказала Мэг, – спрячь! Когда она опять придет, скажи ей, что я люблю ее всем сердцем. Что я каждый вечер молюсь за нее. Что, когда сижу одна за работой, все время о ней думаю. Что она со мной, днем и ночью. Что, если бы мне завтра умирать, я помнила бы о ней до последнего вздоха. Но что на деньги эти я и смотреть не хочу.

Он медленно убрал руку и, сжав деньги в кулаке, произнес не то задумчиво, не то сонно:

– Я ей так и сказал. Яснее ясного. Я после того раз десять относил ей этот подарок. Но когда она пришла и стала прямо передо мной, что мне было делать?

– Так ты ее видел! – вскричала Мэг. – Ты ее видел? Лиlien, золотая моя девочка! Лиlien!

– Я ее видел, – сказал он, не в ответ ей, но словно все так же медленно думая вслух. – Стоит передо мной и вся дрожит. «Как она выглядит, Ричард? Похудела? А меня вспоминает? Мое всегдашнее место у стола – что там теперь? А пальцы, в которых она учила меня вышивать, она их сожгла, Ричард?» Так и говорила. Я сам слышал.

Сдерживая рыдания, с мокрым от слез лицом, Мэг склонилась над ним, чтобы не упустить ни слова.

А он, уронив руки на колени и весь подавшись вперед, точно с трудом разбирая стершуюся надпись на полу, продолжал говорить:



– «Ричард, я пала очень низко, и ты поймешь, каково мне было получить обратно эти деньги, раз я теперь решилась сама принести их тебе. Но ты любил ее когда-то, еще на моей памяти. Люди вас разлучили; страх, ревность, сомнения, самолюбие сделали свое дело: ты отдалился от нее. Но ты ее любил, еще на моей памяти». Да, наверно любил, – сказал он вдруг, сам себя прерывая: – Наверно любил. Но не в этом суть. «Ричард, если ты ее любил, если помнишь то, что прошло и не вернется, сходи к ней еще раз. В последний раз. Расскажи ей, как я тебя упрашивала. Расскажи, как я положила тебе руку на плечо – на это плечо она могла бы сама склоняться, – и как смиренно я с тобой разговаривала. Расскажи ей, как ты поглядел мне в лицо и увидел, что красота, которой она когда-то любовалась, исчезла без следа, что она бы расплакалась, увидев, какая я стала худая и бледная. Расскажи ей все, и тогда она не откажется их взять, не будет так жестока!»

Он посидел еще немного, задумчиво повторяя последние слова, потом опять очнулся и встал.

– Не возьмешь, Маргарет?

Она только качала головой и без слов молила его уйти.

– Покойной ночи, Маргарет.

– Покойной ночи.

Он оглянулся на нее, пораженный ее горем, а может и жалостью к нему, дрожавшей в ее голосе. То было быстрое, живое движение, мгновенная вспышка прежнего огня. В следу-

ющую минуту он ушел, И навряд ли эта вспышка помогла ему яснее увидеть, до какого бесчестия он докатился.

Как бы ни печалилась Мэг, какую бы ни терпела муку, душевную или телесную, а работать все равно было нужно. Она взялась за иглу. Наступила полночь, она все работала.

Ночь была холодная, огонь в очаге чуть тлел, и она встала, чтобы подбросить немножко угля. Тут прозвонили колокола – половина первого; а когда они смолкли, кто-то тихо постучал в дверь. И только она подумала, кто бы это мог быть в такое неурочное время, как дверь отворилась.

О красота и молодость, вы, по праву счастливые, смотрите! О красота и молодость, благословенные и все вокруг себя благословляющие, вы, через кого совершается воля всеблагого творца вашего, смотрите!

Мэг увидела входящую; вскрикнула; назвала ее по имени: «Лилиен!»

Мгновение – и та упала перед ней на колени, ухватилась за ее платье.

– Встань, родная, встань! Лилиен, дорогая моя!

– Нет, нет, Мэг, поздно! Только так, рядом с тобой, касаться тебя, чувствовать на лице твое дыхание!

– Малютка Лилиен! Дитя моего сердца – родная мать не могла бы любить сильнее, – дай мне обнять тебя!

– Нет, Мэг, поздно! Когда я впервые тебя увидела, ты стояла передо мной на коленях. Дай мне умереть на коленях перед тобой. Не поднимай меня!

– Ты возвратилась. Сокровище мое! Мы будем вместе, будем вместе жить, работать, надеяться, вместе умрем!

– Поцелуй меня, Мэг, обними меня, прижми к груди; посмотри на меня, как бывало. Но не поднимай меня. Дай взглядеться на тебя напоследок вот так, на коленях!

О красота и молодость, вы, по праву счастливые, смотрите! О красота и молодость, вы, через кого совершается воля всеблаготворца вашего, смотрите!

– Прости меня, Мэг! Дорогая моя! Прости! Я знаю, вижу, что ты простила, но ты скажи это, Мэг!

И она сказала это, касаясь губами щеки Лилиен, обвинив руками ту, чье сердце – теперь она это знала – вот-вот перестанет биться.

– Храни тебя спаситель, родная. Поцелуй меня еще раз! Он позволил ей сидеть у его ног и отирать их волосами головы своей.<sup>10</sup> Ах, Мэг, какое милосердие!

Едва она умерла, как возле старого Тоби опять возник призрак маленькой девочки, невинной и радостной, и, легко до него дотронувшись, поманил его за собой.

---

<sup>10</sup> *Он позволил ей сидеть у его ног и отирать их волосами головы своей...* – намек на евангельскую легенду о грешнице, которую Христос простил за искреннее раскаяние.

## Четвертая четверть

Снова забрезжили в памяти грозные фигуры – духи колоколов; донесся до слуха слабый колокольный звон; закружился в глазах и в мозгу рой эльфов, и множился, множился, пока самое воспоминание о нем не затерялось в его несметности; снова мелькнула мысль, неведомо кем внушенная, что прошло еще сколько-то лет, и теперь Тоби, стоя рядом с призраком девочки, видел перед собой простых смертных.

Смертные были упитанные, румяные, довольные. Их было всего двое, но раскраснелись они за десятерых. Они сидели у весело пылающего огня, по обе стороны низкого столика; и аромат горячего чая и пышек, – если только он не застаивался здесь дольше, чем во всякой другой комнате, – свидетельствовал о том, что столиком этим совсем недавно пользовались. Но поскольку посуда была вымыта и расставлена по местам в буфете, а длинная вилка для поджаривания хлеба висела в отведенном ей уголке, растопырив свои четыре пальца и словно требуя, чтобы с нес сняли мерку для перчатки, – видимых следов только что закончившейся трапезы не осталось, если не считать довольного мурлыканья разомлевшей, умывающейся лапкой кошки да убогатворенных, чтобы не сказать лоснящихся физиономий ее хозяев.

Эти двое (явно супружеская пара) уютно расположились у огня так, чтобы ни ему, ни ей не было обидно, и глядя на ис-

кры, падающие в решетку, то задремывали, то снова просыпались, когда горячая головешка покрупнее со стуком скапывалась вниз, словно увлекая за собой остальные.

Впрочем, огню не грозила опасность потухнуть: он поблескивал не только в комнатке, и на стеклах двери, и на занавеске, до половины скрывавшей их, но и в лавочке за этой дверью. А лавочка была битком набита товаром – обжора, а не лавочка, с пастью жадной и вместительной, что у акулы. Сыр, масло, дрова, мыло, соленья, спички, сало, пиво, волчки, сласти, бумажные змеи, конопляное семя, ветчина, веники, плиты для очага, соль, уксус, вакса, копченые селедки, бумага и перья, шпиг, грибной соус, шнурки для корсетов, хлеб, воланы, яйца и грифели – все годилось в пищу этой прожорливой лавчонке и все она заглатывала без разбора. Сколько еще было в ней всякого другого добра – сказать невозможно; но с потолка, подобно гроздьям диковинных фруктов, свисали мотки бечевки, связки лука, пачки свечей, сита и щетки; а жестяные ящички, издававшие разнообразные приятные запахи, подтверждали слова вывески над входной дверью, оповещавшей публику, что владелец этой лавочки имеет разрешение на торговлю чаем, кофе, перцем и табаком, как курительным так и нюхательным.

Бросив взгляд на те из перечисленных выше предметов, которые были видны при ярком пламени очага и не столь веселом свете двух закопченных ламп, тускло горевших в самой лавке, словно задыхаясь от ее изобилия; а затем взгля-

нув на одно из лиц, обращенных к огню, Трухти тотчас узнал в раздобревшей пожилой особе миссис Чикенстокер: она всегда была склонна к полноте, даже в те дни, когда он знал ее лично и за ним числился в ее лавке небольшой должок.

Второе лицо далось ему труднее. Тяжелый подбородок с такими глубокими складками, что в них можно засунуть целый палец; удивленные глаза, точно пытающиеся убедить сами себя, что нельзя же так беспардонно заплывать жиром; нос, подверженный малоприятному расстройству, в просторечии именуемом сопеньем; короткая, толстая шея; грудь, вздымаемая одышкой, и другие подобные прелести хоть и были рассчитаны на то, чтобы запечатлеться в памяти, но сначала не вызвали у Трухти воспоминания ни о ком из его прежних знакомых. А между тем ему помнилось, что где-то он их уже видел. В конце концов в компаньоне миссис Чикенстокер по торговой линии, а также по кривой и капризной линии жизни, Трухти узнал бывшего швейцара сэра Джозефа Баули, который много лет назад прочно связался в его сознании с миссис Чикенстокер, ибо именно он, сей апоплексический младенец, впустил его в богатый особняк, где он покаялся в своих обязательствах перед этой леди и тем навлек па свою горемычную голову столь тяжкий укор.

После тех перемен, на какие насмотрелся Тоби, эта перемена не особенно его поразила; но сила ассоциации порою бывает очень велика, и он невольно заглянул в лавку, на косяк двери, где когда-то записывали мелом долги покупате-

лей. Своей фамилии он не увидел. Те фамилии, что значились там, были ему незнакомы, да и число их заметно сократилось против прежнего, из чего он заключил, что бывший швейцар предпочитает торговать за наличные и, войдя в дело, подтянул поводья чикенстокеровским неплательщикам.

Так грустно было Тоби, так он горевал о загубленной молодости своей несчастной дочери, что и тут не на шутку опечалился – даже в списке должников миссис Чикенстокер ему не нашлось места!

– Какая на дворе погода, Энн? – спросил бывший швейцар сэра Джозефа Баули и, протянув ноги к огню, потер их, насколько позволяли его короткие руки, словно говоря: «Если плохая – хорошо, что я дома, если хорошая – все равно никуда не пойду».

– Ветер и слякоть, – отвечала жена. – Того и гляди снег пойдет. Темно. И холодно очень.

– Вот и правильно, что мы поели пышек, – сказал бывший швейцар тоном человека, успокоившего свою совесть. – Вечер нынче как раз подходящий для пышек. А также для сладких лепешек. И для сдобных булочек.

Бывший швейцар назвал эти лакомства одно за другим, словно не спеша подсчитывая свои добрые дела. Затем он опять потер толстые свои ноги и, согнув их в коленях, чтобы подставить огню еще не поджарившиеся места, рассмеялся как от щекотки.

– Вы сегодня веселы, дорогой Тагби, – заметила супруга.

Фирма именовалась «Тагби, бывш. Чикенстокер».

– Нет, – сказал Тагби. – Нет. Разве что чуточку навеселе.

Очень уж кстати пришлись пышки.

Тут он поперхнулся смехом, да так, что весь почернел, а чтобы изменить свою окраску, стал выделывать ногами в воздухе замысловатые фигуры, причем жирные эти ноги согласились вести себя сколько-нибудь прилично лишь после того, как миссис Тагби изо всей мочи постукала его по спине и встряхнула, точно большущую бутыль.

– О господи, спаси и помилуй! – в испуге восклицала миссис Тагби. – Что же это делается с человеком!

Мистер Тагби вытер слезы и слабым голосом повторил, что он чуточку навеселе.

– Ну и довольно, богом вас прошу, – сказала миссис Тагби. – Я просто умру со страху, если вы будете так лягаться и биться.

Мистер Тагби пообещал, что больше не будет; но вся его жизнь была сплошною битвой, в которой он, если судить по усиливающейся с годами одышке и густеющей багровости лица, терпел поражение за поражением.

– Так вы говорите, моя дорогая, что на дворе ветер и слякоть, вот-вот пойдет снег, темно и очень холодно? – сказал мистер Тагби, глядя в огонь и возвращаясь к первопричине своей веселости.

– Погода хуже некуда, – подтвердила его жена, качая головой.



– Да, да, – проговорил мистер Тагби. – Годы в этом смысле все равно что люди. Одни умирают легко, другие трудно. Нынешнему году осталось совсем мало жизни, вот он за нее и борется. Что ж, молодец! Это мне по нраву. Дорогая моя, покупатель!

Миссис Тагби, услышав, как стукнула дверь, и сама уже встала с места.

– Ну, что угодно? – спросила она, выходя в лавку. – Ох, прошу прощенья, сэр, никак не ожидала, что это вы.

Джентльмен в черном, к которому она обратилась с этим извинением, кивнул в ответ, засучил рукава, небрежно сдвинул шляпу набекрень и уселся верхом на бочку с пивом, сунув руки в карманы.

– Там у вас наверху дело плохо, – сказал джентльмен. – Он не выживет.

– Неужто чердак? – вскричал Тагби, выходя в лавку и вступая в беседу.

– Чердак, мистер Тагби, – сказал джентльмен, – быстро катится вниз и скоро окажется ниже подвала.

Поглядывая то па мужа, то на жену, он согнутыми пальцами постучал по бочке, чтобы выяснить, сколько в ней пива, после чего стал выстукивать на пустой ее части какой-то мотивчик.

– Чердак, мистер Тагби, – сказал джентльмен, снова обращаясь к онемевшему от неожиданности Тагби, – скоро отправится на тот свет.

– В таком случае, – сказал Тагби жене, – надо отправить его отсюда, пока он еще туда не отправился.

– Трогать его с места нельзя, – сказал джентльмен, покачивая головой. – Я по крайней мере не могу взять на себя такую ответственность. Лучше оставьте его в покое. Он долго не протянет.

– Только из-за этого, – сказал Тагби и так ударил кулаком по чашке весов, что она грохнула о прилавок, – только из-за этого у нас с ней и бывали нелады, и вот, извольте видеть, что получилось! Все-таки он умирает здесь. Умирает под этой крышей. Умирает в нашем доме!

– А где же ему было умирать, Тагби? – вскричала его жена.

– В работном доме. Для чего же и существуют работные дома!

– Не для того, – заговорила миссис Тагби горячо и убежденно. – Не для того! И не для того я вышла за вас, Тагби. Я этого не позволю, и не надейтесь, я этого не допущу. Скорее я готова разойтись с вами и больше вас не видеть. Еще когда над этой дверью стояла моя вдовья фамилия – а так было много лет, и лавка миссис Чикенстокер была известна всем в округе как честное, порядочное заведение, – еще когда над этой дверью, Тагби, стояла моя вдовья фамилия, я знала его, видного парня, непьющего, смелого, самостоятельного; знала и ее, красавицу и умницу, каких поискать; знала и ее отца (он, бедняга, залез как-то во сне на колокольню, упал и разбился насмерть), такой работающий был старик, а сердце

простое и доброе, как у малого ребенка; и уж если я их выгоню из своего дома, пусть ангелы выгонят меня из рая. А они и выгонят. И поделом мне будет!

При этих словах будто проглянуло ее прежнее лицо, – а оно до всех описанных перемен каждого привлекало своими симпатичными ямочками; и когда она утерла глаза и тряхнула головой и платком, глядя на Тагби с выражением непреклонной твердости, Трухти сказал: «Благослови ее бог!» Потом с замирающим сердцем стал слушать дальше, понимая пока одно – что речь идет о Мэг.

Если в гостиной Тагби вел себя веселее, чем нужно, то теперь он с лихвой расплатился по этому счету, ибо в лавке был мрачнее мрачного; он тупо уставился на жену и даже не пытался ей возражать, однако же, не спуская с нее глаз, втихомолку – то ли по рассеянности, то ли из предосторожности – перекладывал всю выручку из кассы к себе в карман.

Джентльмен, сидевший на бочке, – видимо, он был уполномочен городскими властями оказывать врачебную помощь беднякам, – казалось, привык к мелким стычкам между супругами, почему и в этом случае не счел нужным вмешаться. Он сидел, тихо посвистывая и по капле выпуская пиво из крана, пока не водворилась полная тишина, а тогда поднял голову и сказал, обращаясь к миссис Тагби, бывшей Чикенстокер:

– Женщина и сейчас еще недурна. Как случилось, что она вышла за него замуж?

– А это, пожалуй, и есть самое тяжелое в ее жизни, сэр, – отвечала миссис Тагби, подсаживаясь к нему. – Дело-то было так: они с Ричардом полюбили друг друга еще давным-давно, когда оба были молоды и хороши собой. Вот они обо всем договорились и должны были пожениться в день Нового года. Но Ричард послушал тех джентльменов и забрал в голову, что, мол, нечего себя губить, что скоро он об этом пожалеет, что она ему не пара, что такому молодцу, как он, вообще незачем жениться. А ее те джентльмены застрашали, она стала такая смутная, все боялась, что он ее бросит, и что дети ее угодят на виселицу, и что выходить замуж грешно и бог его знает чего еще. Ну, короче говоря, они все тянули и тянули, перестали верить друг другу и, наконец, расстались. Но вина была его. Она-то пошла бы за него, сэр, с радостью. Я сама сколько раз видела, как она аж в лице менялась, когда он, бывало, гордо пройдет мимо и не взглянет на нее; и ни одна женщина так не сокрушалась о мужчине, как она сокрушалась о Ричарде, когда он стал сбиваться с пути.

– Ах, так он, значит, сбился с пути? – спросил джентльмен и, вытащив втулку, заглянул в бочку с пивом.

– Да понимаете, сэр, по-моему, он сам не знал, что делает. По-моему, когда они расстались, у него даже разум помрачился. Не будь ему совестно перед теми джентльменами, а может и страшновато – как, мол, она его примет, – он бы на любые муки пошел, лишь бы опять получить согласие Мэг и жениться на ней. Это я так думаю. Сам-то он никогда этого

не говорил, и очень жаль. Он стал пить, бездельничать, водиться со всяким сбродом, – ведь ему сказали, что это лучше, чем свой дом и семья, которую он мог бы иметь. Он потерял красоту, здоровье, силу, доброе имя, друзей, работу – все потерял!

– Не все, миссис Тагби, – возразил джентльмен, – раз он обрел жену; мне интересно, как он обрел ее.

– Сейчас, сэръ, я к этому и веду. Так шло много лет – он опускался все ниже, она, бедняжка, терпела такие невзгоды, что не знаю, как еще она жива осталась. Наконец он доказал до того, что никто уж не хотел и смотреть на него, не то что держать на работе. Куда ни придет, отовсюду его гонят. Вот он ходил с места на место, обивал-обивал пороги, и в сотый, наверно, раз пришел к одному джентльмену, который раньше часто давал ему работу (работал-то он хорошо до самого конца); а этот джентльмен знал его историю, он разобиделся, рассердился, да и скажи ему: «Думаю, что ты неисправим; только один человек на свете мог бы тебя образумить. Пусть она попробует, а до того не будет к тебе больше моего доверия». Словом, что-то в этом роде.

– Вот как? – сказал джентльмен. – Ну и что же?

– Ну, он и пошел к ней, бухнулся ей в ноги, сказал, что только на нее и надеется, просил-умолял спасти его.

– А она?.. Да вы не расстраивайтесь так, миссис Тагби.

– Она в тот вечер пришла ко мне насчет комнаты. «Чем он был для меня раньше, говорит, это лежит в могиле, как

и то, чем я была для него. Но я подумала, и я попробую. В надежде спасти его. В память той беззаботной девушки (вы ее знали), что должна была выйти замуж на Новый год; и в память ее Ричарда». И еще она сказала, что он пришел к ней от Лилиен, что Лилиен доверяла ему, и она этого никогда не забудет. Вот они и поженились; и когда они сюда пришли и я их увидела, у меня была одна мысль: не дай бог, чтобы сбывались такие пророчества, как те, что разлучили их в молодости, и не хотела бы я быть на месте этих пророков!

Джентльмен слез с бочки и потянулся.

– Наверно, он с самого начала стал дурно с ней обращаться?

– Да нет, этого, по-моему, никогда не было, – сказала миссис Тагби, утирая слезы. – Некоторое время он держался, но отделаться от старых привычек не мог; скоро он опять поскользнулся и очень быстро докатился бы до прежнего, да тут его свалила болезнь. А ее он, по-моему, всегда жалел. Даже наверно так. Я видела его во время припадков: плачет, трясется и все старается поцеловать ей руку; я слышала, как он называл ее «Мэг» и говорил, что ей, мол, сегодня исполнилось девятнадцать лет. А теперь он уже сколько месяцев не встает с постели. Ей и за ним ходить и за ребенком – работать-то она и не поспевала. А раз не поспевала, то ей и давать работу не стали. Уж как они жили – не знаю.

– Зато я знаю, – буркнул Тагби; он с хитрым видом поглядел на кассу, на полки с товарами, на жену и закончил: – Как

кошка с собакой!

Его прервал громкий крик – горестный вопль, – донесшийся с верхнего этажа. Джентльмен поспешно направился к двери.

– Друг мой, – сказал он, оглядываясь на ходу, – можете не спорить о том, отправлять его куда-нибудь или нет. Кажется, он избавил вас от этой заботы!

И джентльмен побежал наверх; миссис Тагби бросилась за ним, а мистер Тагби стал медленно подниматься следом, ворча что-то себе под нос и больше обычного пыхтя и отдуваясь под тяжестью выручки, в которой, как на грех, оказалось множество медяков.

Трухти, послушный призраку девочки, вознесся по лестнице, как дуновение ветерка.

– Следуй за ней! Следуй за ней! – звучали у него в ушах неземные голоса колоколов. – Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!

Все было кончено. Все кончено – и вот она, гордость и радость отцовского сердца! Измученная, изможденная женщина плачет возле убогой кровати, нежно прижимая к груди младенца. Такого худенького, слабенького, чахлого младенца, такого для нее драгоценного!

– Слава богу! – воскликнул Тоби, молитвенно сложив руки. – Благодарение богу! Она любит свое дитя!

Джентльмен, по природе отнюдь не жестокосердый и не равнодушный (просто он видел такие сцены изо дня в день и

знал, что в задачках мистера Файлера это самые ничтожные цифры, крошечные черточки в его вычислениях), положил руку на сердце, переставшее биться, послушал, есть ли дыхание, и сказал: «Страдания его кончились. Так оно и лучше». Миссис Тагби пыталась утешить вдову ласковыми словами, мистер Тагби – философскими рассуждениями.

– Ну, ну, – сказал он, держа руки в карманах, – нельзя малодушничать. Это не дело. Надо крепиться. Хорош бы я был, если бы смалодушничал, когда в бытность мою швейцаром у нашего крыльца как-то вечером сцепились колесами целых шесть карет. Но я остался тверд, я так и не отпер двери!

Снова Тоби услышал голоса, говорившие: «Следуй за ней». Он повернулся к своей призрачной спутнице, но она стала подниматься в воздух, сказала: «Следуй за ней!» – и исчезла.

Он остался возле дочери; сидел у ее ног; заглядывал ей в лицо, ища хотя бы бледных следов прежней красоты; вслушивался в ее голос – не прозвучит ли в нем прежняя ласка. Он склонялся над ребенком. Хилый ребенок, старообразный, страшный своей серьезностью, надрывающий сердце тихим, жалобным плачем. Тоби готов был молиться на него. Он видел в нем единственное спасение дочери, последнее уцелевшее звено ее долготерпенья. Все свои надежды он, отец, возложил на этого хрупкого младенца; он ловил каждый взгляд, который бросала на него мать, и снова и снова восклицал: «Она его любит! Благодарение богу, она его лю-



бит!»

Он видел, как добрая женщина ухаживала за ней; как опять пришла к ней среди ночи, когда рассерженный супруг уснул и все затихло; как подбодряла ее, плакала с ней вместе, принесла ей поесть. Он видел, как наступил день и снова ночь, и еще день, и еще ночь. Время шло; мертвого унесли из обители смерти, и Мэг осталась в комнате одна с ребенком. Ребенок стонал и плакал, изводил ее, не давал ей покоя, и едва она, в полном изнеможении, забывалась дремотой, возвращал ее к жизни и маленькими своими ручонками опять тащил на дыбу. Но она оставалась неизменно терпеливой и ласковой. Любила его всей душой, всем своим существом была связана с ним так же крепко, как тогда, когда носила его под сердцем.

Все это время она терпела нужду – жестокую, безысходную нужду. С ребенком на руках бродила по улицам в поисках работы; держа его на коленях, поглядывая на обращенное к ней прозрачное личико, делала любую работу, за любого плату – за сутки труда столько фартингов, сколько цифр на циферблате. Может, она сердилась на него? Не заботилась о нем? Может, иногда глядела на него с ненавистью? Или хоть раз сгоряча ударила? Нет. Только этим и утешался Тоби – любовь ее ни на минуту не угасала.

Она скрывала свою крайнюю бедность ото всех и днем старалась уходить из дому, чтобы избежать расспросов единственного своего друга: всякая помощь, какую оказывала ей

эта добрая женщина, вызывала новые ссоры между супругами; и ей было тяжело сознавать, что она вносит раздор в жизнь людей, которым так много обязана.

Она любила своего ребенка. Любила все сильнее и сильнее. Но однажды вечером в самой ее любви что-то изменилось.

Она носила младенца по комнате, баюкая его тихим пением, как вдруг дверь неслышно отворилась и вошел мужчина.

– В последний раз, – сказал он.

– Уильям Ферн!

– В последний раз.

Он прислушивался, точно опасаясь погони, и говорил шепотом.

– Маргарет, мне скоро конец. Но я не мог не проститься с тобой, не поблагодарить тебя.

– Что вы сделали? – спросила она, глядя на него со страхом.

Он не отвел глаз, но промолчал.

Потом махнул рукой, будто отмахивался от ее вопроса, отметал его в сторону, – и сказал:

– Много прошло времени, Маргарет, но тот вечер я помню как сейчас. Не думали мы тогда, – прибавил он, окинув взглядом комнату, – что встретимся вот так. Твой ребенок, Маргарет? Дай его мне. Дай мне поддержать твоего ребенка.

Он положил шляпу на пол и взял младенца. А сам весь дрожал.

– Девочка?

– Да.

Он заслонил крошечное личико рукой.

– Видишь, как я сдал, Маргарет, – я даже боюсь смотреть на нее. Нет. Подожди ее брать, я ей ничего не сделаю. Много прошло времени, а все же... Как ее зовут?

– Маргарет, – ответила она живо.

– Это хорошо, – сказал он. – Это хорошо!

Казалось, он вздохнул свободнее; и после минутного колебания он отнял руку и заглянул малютке в лицо. Но тут же снова прикрыл его.

– Маргарет! – сказал он, отдав ей ребенка. – Это лицо Лилиен.

– Лилиен!

– То же лицо, что у девочки, которую я держал на руках, когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой.

– Когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой! – воскликнула она исступленно.

– Почему ты кричишь? Почему так на меня смотришь? Маргарет!

Она опустила на стул и, прижав ребенка к груди, залилась слезами. То она отстранялась и с тревогой глядела ему в лицо, то снова прижимала его к себе. И тут-то к ее любви стало примешиваться что-то неистовое и страшное. И тут-то у ее старика отца заныло сердце.

«Следуй за ней! – прозвучало повсюду вокруг. – Узнай

правду от той, кто тебе всех дороже!»

– Маргарет! – сказал Ферн и, наклонившись, поцеловал ее в лоб. – В последний раз благодарю тебя. Прощай! Дай мне руку и скажи, что отныне ты меня не знаешь. Постарайся думать обо мне как о мертвом.

– Что вы сделали? – спросила она снова.

– Нынче ночью будет пожар, – сказал он, отодвигаясь от нее. – Всю зиму будут пожары<sup>11</sup>, то там, то тут, чтобы по ночам было виднее. Как увидишь вдали зарево, так и знай – началось. Как увидишь вдали зарево, забудь обо мне; а если не сможешь, то вспомни, какой адский огонь запалили у меня в груди, и считай, что это его отсвет играет на тучах. Прощай!

Она окликнула его, но он уже исчез. Она сидела оцепенев, пока не проснулся ребенок, а тогда опять почувствовала и холод, и голод, и окружающую тьму. Всю ночь она ходила с ним из угла в угол, баюкая его, успокаивая. Временами повторяла вслух: «Как Лилиен, когда мать умерла и оставила ее сиротой!» Почему всякий раз при этих словах ее шаг убыстрялся, глаза загорались, а любовь становилась такой неистойвой и страшной?

---

<sup>11</sup> *Всю зиму будут пожары...* – Английские крестьяне и батраки, доведенные до отчаяния нуждой и безработицей, еще с 30-х годов XIX века стали прибегать к поджогам как к средству борьбы против землевладельцев и богатых фермеров. Зимой 1843—1844 года, то есть за год до того, как были написаны «Колокола», эти поджоги необычайно участились. Газеты того времени чуть ли не каждую неделю приводят случаи, когда крестьяне сжигали стога сена, скирды хлеба, надворные постройки. В большинстве случаев не удавалось установить, кем был совершен поджог.

– Но это любовь, – сказал Трухти. – Это любовь. Она никогда не разлюбит свое дитя. Бедная моя Мэг!

Утром она особенно постаралась приодеть ребенка – тщетные старания, когда под рукой только жалкие тряпки! – и еще раз пошла искать себе пропитания. Был последний день старого года. Она искала до вечера, не пивши, не евши. Искала напрасно.

Она вмешалась в толпу отверженных, которые ждали, стоя в снегу, чтобы некий чиновник, уполномоченный творить милостыню от имени общества (не втайне, как велит нагорная проповедь, но явно и законно), соизволил вызвать их и допросить, а потом одному бы сказал: «Ступай туда-то», другому. «Зайди на той неделе», а третьего подкинул как мяч и пустил гулять из рук в руки, от порога к порогу, покуда он не испустит дух от усталости, либо, отчаявшись, пойдет на кражу и тогда станет преступником высшего сорта, чье дело уже не терпит отлагательства. Здесь она тоже ничего не добила. Она любила свое дитя, нипочем не согласилась бы с ним расстаться. А таким не помогают.

Уже ночь была на дворе – темная, ненастная ночь, – когда она, согревая ребенка на груди, подошла к единственному дому, который могла назвать своим. Измученная, без сил, она уже хотела войти и только тут заметила, что в дверях кто-то стоит. То был хозяин дома, расположившийся таким образом, чтобы загородить собой весь вход, – при его комплекции это было нетрудно.

– А-а, – сказал он вполголоса, – так вы вернулись? Она взглянула на ребенка, потом обратила умоляющий взор к хозяину и кивнула головой.

– А вам не кажется, что вы и так уже прожили здесь достаточно долго, не платя за квартиру? – сказал мистер Тагби. – Вам не кажется, что вы и так уже забрали в этой лавке достаточно товаров в кредит?

Снова она обратила на него молящий взгляд.

– Может, вам бы сменить поставщиков? – сказал он. – И может, поискать бы себе другое жилище, а? Вам не кажется, что имеет смысл попробовать?

Она едва слышно проговорила, что время уже очень позднее. Завтра.

– Я понимаю, чего вам нужно, – сказал Тагби, – и к чему вы клоните. Вы знаете, что в этом доме существуют два мнения относительно вас, и вам, видно, очень нравится стравливать людей. А я не желаю ссор; я нарочно говорю тихо, чтобы избежать ссоры; но если вы станете упрямитесь, я заговорю погромче, и тогда можете радоваться, ссоры не миновать, да еще какой. Но войти вы не войдете, это я решил твердо.

Она откинула волосы со лба и как-то странно посмотрела на небо, а потом устремила взгляд во тьму, окутавшую улицу.

– Сегодня кончается старый год, и я не намерен, в угоду вам или кому бы то ни было, переносить в новый год всякие нелады и раздоры, – сказал Тагби. (Он тоже был Друг и Отец,

только весом поменьше.) – И не совестно вам переносить такие повадки в новый год? Если вам нечего делать в жизни, как только малодушничать да ссорить мужа с женой, лучше бы вам вовсе не жить. Уходите отсюда!

«Следуй за ней! До роковой черты!»

Опять старый Тоби услышал голоса духов. Подняв голову, он увидел их в воздухе, они указывали на Мэг, уходящую вдаль по темной улице.

– Она любит свое дитя! – взмолился он в нестерпимой муке. – Милые колокола! Она его любит!

– Следуй за ней! – И темные фигуры, как тучи, понеслись ей вдогонку.

Тоби не отставал от них; вот он нагнал дочь, заглянул ей в лицо. Он увидел то неистовое и страшное, что применилось к ее любви, горело в ее глазах. Он услышал слова: «Как Лилиен! Стать такой, как Лилиен!», и она еще ускорила шаг.

Ах, если б что-нибудь ее разбудило! Если бы проник в воспаленный мозг какой-нибудь образ, или звук, или запах, способный вызвать нежные воспоминания! Если б стала перед нею хоть одна светлая картина прошедшего!

– Я был ее отцом! Отцом! – крикнул старик, простирая руки к черным теням, летящим в вышине. – Смилюйтесь над ней и надо мною! Куда она идет? Верните ее! Я был ее отцом!

Но они только указали на нее и повторили: «Следуй за ней! Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!»

Стоголосое эхо подхватило эти слова. Воздух был полон

ими. Тоби словно вбирал их в себя при каждом вдохе. Они были везде, никуда от них не скрыться. А Мэг уже не шла, а бежала, и все тот же огонь пылал в ее взоре, все те же слова срывались с губ: «Как Лилиен! Стать такой, как Лилиен!»

Вдруг она остановилась.

– Хоть теперь верни ее! – воскликнул старик, схватившись за седую свою голову. – Моя дочка! Мэг! Верни ее! Отче милосердный, верни ее!

Она укутала младенца в свою рваную шаль. Горячечными руками ощупала его тельце, погладила по лицу,правила на нем убогий наряд. Прижала его к исхудалой груди, словно давала клятву никогда с ним не разлучаться. И прильнула к нему сухими губами в последнем, мучительном порыве любви.

А потом она спрятала крошечную ручонку у себя за пазухой, возле наболевшего сердца, повернула сонное личико к себе и, опять сжав малютку в объятиях, побежала дальше, к реке.

К быстрой реке, клубящейся и мутной, где зимняя ночь была мрачна, как последние мысли многих других несчастных, искавших здесь избавления. Где редкие красные огни на берегу горели угрюмо и тускло, точно факелы, освещающие путь в небытие. Где ни одно обиталище живых людей не бросало тени на глубокую, непроглядную, печальную тьму.

К реке! К этим воротам в вечность стремилась она свой бег, так же неудержимо, как воды реки стремились к морю. То-



би хотел коснуться ее, когда она сбегала к темной воде, но дикое, безумное лицо – неистовая, страшная любовь – отчаяние, презревшее все земные запреты, – пронеслось мимо него, как вихрь.

Он догнал ее. На мгновение она задержалась перед смертельным прыжком. Он упал на колени и в голос крикнул духам колоколов, парившим над ним:

– Я узнал правду! Узнал от той, кто мне всех дороже! О, спасите ее, спасите!

Он вцепился в ее платье, и платье не выскользнуло у него из рук. Произнося последние слова, он почувствовал, что к нему вернулось осязание, что он может ее удержать.

Духи колоколов не сводили с него пристального взгляда.

– Я узнал все! – вскричал старик. – Смилуйтесь надо мной в этот час, даже если я, из любви к ней, такой молодой и невинной, клеветал на Природу, на сердце матери, доведенной до отчаяния. Простите мою дерзость, Злобу и невежество, спасите ее!

Он почувствовал, что пальцы его слабеют. Колокола молчали.

– Смилуйтесь над ней! – вскричал он. – Ведь на страшный этот грех ее толкнула любовь – пусть больная любовь, но самая сильная, самая глубокая, какую только дано знать нам, падшим созданиям! Подумайте, сколько она выстрадала, если такие семена принесли такие плоды! Она была рождена для безгрешной жизни. Всякая любящая мать могла бы сде-

лать то же после стольких испытаний. О, сжальтесь над моей дочерью, ведь она и сейчас жалеет свое дитя и только затем губит свою бессмертную душу, чтобы спасти его!

Он крепко обхватил ее. Теперь-то он ее удержит! Сила его была безмерна.

– Я вижу среди вас призрак дней прошедших и грядущих! – воскликнул старик, заметив девочку и словно черпая вдохновение в устремленных на него сверху взглядах. – Я знаю, что Время хранит для нас наше наследие. Я знаю, что придет день и волна времени, поднявшись, сметет, как листья, тех, кто чернит нас и угнетает. Я вижу, она уже поднимается! Я знаю, что мы должны верить, и надеяться, и не сомневаться ни в себе, ни друг в друге. Я узнал это от той, кто мне всех дороже. Я снова обнимаю ее. О духи, милостивые и добрые, я запомню ваш урок. О духи, милостивые и добрые, спасибо!

Он мог бы говорить еще, но тут колокола, – старые знакомые колокола, его милые, преданные, верные друзья – зазвонили в честь нового года, да так радостно, так весело и задорно, что он вскочил на ноги и разрушил тяготевшие над ним чары.

– И очень прошу тебя, отец, – сказала Мэг, – воздержись ты от рубцов, пока не справишься у какого-нибудь доктора, не вредно ли тебе их есть; ведь что ты тут вытворял – ой-ой-ой!

Она шила за столиком у огня – отделявала свое простень-

кое платье лентами, к свадьбе. И столько в ней было спокойного счастья, столько цветущей юности и светлой надежды, что Тоби громко ахнул, словно увидев ангела, а потом кинулся к ней с распростертыми объятиями.

Но он запутался ногами в упавшей на пол газете, и кто-то успел проскочить между ним и дочерью.

– Нет! – крикнул этот кто-то бодрим, ликующим голосом. – Даже вам не уступлю, даже вам. Первый поцелуй и Мэг в новом году достанется мне. Мне! Я целый час дождался на улице, пока зазвонят колокола. Мэг, сокровище мое, с новым годом! Многих, многих тебе счастливых лет, дорогая моя женушка!

И Ричард осыпал ее поцелуями.

В жизни своей вы не видели ничего подобного тому, что тут сделалось с Трухти. Где бы вы ни жили, что бы ни видели на своем веку, все равно: ничего даже отдаленно похожего на это вам и не снилось! Он садился на стул, бил себя по коленкам и плакал; садился на стул, бил себя по коленкам и смеялся; садился на стул, бил себя по коленкам и смеялся и плакал одновременно; он вскакивал со стула и бросался обнимать Мэг; вскакивал со стула и бросался обнимать Ричарда; вскакивал со стула и бросался обнимать их обоих вместе; он то подбегал к Мэг и, сжав руками ее свежее личико, крепко ее целовал, то отбегал от нее задом, чтобы ни на минуту не терять ее из виду, и снова подбегал к ней, как фигурка в волшебном фонаре; а в промежутках плюхался на стул, но

тут же снова вскакивал, точно подброшенный пружиной. Он в полном смысле слова был сам не свой от радости.

– А завтра твоя свадьба, голубка! – вскричал Трухти. – Настоящая, счастливая свадьба!

– Не завтра, а сегодня! – воскликнул Ричард, пожимая ему руку. – Сегодня. Колокола уже возвестили новый год. Вы только послушайте.

Ох, как они звонили! Как же они звонили, дай им бог здоровья! Конечно, это были замечательные колокола – большие, голосистые, звучные, отлитые из лучшего металла, сработанные лучшими мастерами; однако никогда, никогда еще они так не звонили!

– Но ведь сегодня, родная, – сказал Трухти, – сегодня вы с Ричардом малость повздорили.

– Потому что он очень нехороший человек, отец, – отвечала Мэг. – Разве неправда, Ричард? Такой упрямец, такой горячка! Ему бы ничего не стоило отчитать этого важного олдермена, прямо-таки упразднить его, – он думает, это так же просто, как...

– Поцеловать Мэг, – перебил ее Ричард. И поцеловал.

– Да, да, так же просто. Но я ему не позволила, отец. Какой в том был бы прок?

– Ричард, дружище! – сказал Трухти. – Ты всегда у нас был молодчина, и всегда будешь молодчина, до гробовой доски! Но ты, моя голубка, ты плакала у огня, когда я пришел. О чем ты плакала у огня?

– Я вспоминала, сколько мы с тобой прожили вместо, отец. И думала, что теперь тебе будет скучно одному. Вот и все.

Трухти снова попятился к своему спасительному стулу, но тут, разбуженная шумом, к ним вбежала полуодетая девочка.

– Да вот она! – вскричал Трухти, подхватывая ее на руки. – Вот наша маленькая Лилиен! Ха-ха-ха! Раз-два-три, вот и мы! И раз-два-три, и вот и мы! А вот и дядя Уилл! – И Трухти, прервав свои прыжки, сердечно его приветствовал. – Ах, дядя Уилл, какое мне было видение за то, что я привел вас к себе! Ах, дядя Уилл, друг дорогой, какую службу вы мне сослужили своим приходом!

Уилл Ферн не успел ответить, потому что в комнату ворвался целый оркестр, а за ним и толпа соседей, выкрикивающих «С новым годом, Мэг!», «Счастливого брака!», «Долгой жизни!» и прочие пожелания в том же духе. Барабан (закадычный друг Тоби) выступил вперед и сказал:

– Трухти Вэк, старина! Прошел слух, что твоя дочка завтра выходит замуж. Не найдется человека, который, зная тебя, не желал бы тебе счастья или, зная ее, не желал бы счастья ей. Или, зная вас обоих, не желал бы вам обоим всяческого благополучия, какое только может принести новый год. Вот мы и пришли встретить его музыкой и танцами.

Дружный крик одобрения был ответом на эту речь. Барабан, к слову сказать, был сильно под хмельком; ну, да бог с ним.

– Какое же счастье, – сказал Тоби, – внушать людям такие чувства! Какие вы добрые друзья и соседи! А все она, моя милая дочка. Она это заслужила.

Минуты не прошло, как они приготовились к танцам (Мэг и Ричард в первой паре); и барабан уже совсем было собрался забарабанить во всю мочь, как вдруг за дверью послышался страшный шум и в комнату вбежала женщина лет пятидесяти, вида приятного и добродушного, а за ней мужчина с глиняным кувшином необъятных размеров, а за ним трещотка и колокольцы – маленькие, на деревянной раме, совсем непохожие на те, большие колокола.

Тоби сказал «миссис Чикенстокер!» и опять плюхнулся на стул и стал бить себя по коленкам.

– Собралась замуж, Мэг, а от меня утаила! – воскликнула добрая женщина. – А я бы не уснула в последнюю ночь старого года, если бы не зашла пожелать тебе счастья. Будь я прикована к постели, я бы и то пришла. А раз сегодня канун нового года и к тому же канун твоей свадьбы, моя милочка, я велела сварить кувшинчик пивного пунша и захватила с собой.

«Кувшинчик» поистине делал честь миссис Чикенстокер. Из него валил дым и пар, как из кратера вулкана, а мужчина, принесший его, совсем ослабел.

– Миссис Тагби! – сказал Трухти, в упоении описывая около нее круг за кругом, – то есть, вернее, миссис Чикенстокер. Сердечно вас благодарим! Счастливого вам нового

года и долгой жизни!.. Миссис Тагби! – продолжал Трухти, расцеловавшись с нею, – то есть, вернее, миссис Чикенстокер. Познакомьтесь – это Уильям Ферн и Лилиен.

К его удивлению, сия достойная особа сильно побледнела, а затем густо покраснела.

– Неужели та Лилиен Ферн, – сказала она, – у которой мать умерла в Дорсетшире?

Уильям Ферн ответил «да», и они, быстро отойдя в сторону, обменялись несколькими словами, после чего миссис Чикенстокер пожала ему обе руки, еще раз, а затем по собственному почину, расцеловалась с Тоби и привлекла девочку к своей объемистой груди.

– Уилл Ферн! – сказал Тоби, надевая на правую руку свою серую рукавицу. – Не та ли это знакомая, которую вы надеялись разыскать?

– Та самая, – отвечал Ферн, кладя руки на плечи Тоби. – И она, видно, окажется почти таким же добрым другом, как тот, которого я уже нашел.

– Ах, вот оно что! – сказал Тоби. – Музыка, прошу. Окажите такую любезность.

Под звуки оркестра, колокольников и трещоток и под не смолкнувший еще трезвон колоколов Трухти, отодвинув Мэг и Ричарда на второе место, открыл бал с миссис Чикенстокер и сплясал танец, не виданный ни до того, ни после, – танец, в основу коего была положена знаменитая его трусца.

Может, все это приснилось Тоби? Или его радости и го-

рести, и те, кто делил их с ним, – только сон; и сам он только сон; и рассказчику эта повесть приснилась и лишь теперь он пробуждается? Если так, о ты, кто слушал его и всегда оставался ему дорог, не забывай о суровой действительности, из которой возникли эти видения; и в своих пределах – а для этого никакие пределы не будут слишком широки или слишком тесны – старайся исправить ее, улучшить и смягчить. Так пусть же новый год принесет тебе счастье, тебе и многим другим, чье счастье ты можешь составить. Пусть каждый новый год будет счастливее старого, и все наши братья и сестры, даже самые смиренные, получают по праву свою долю тех благ, которые определил им создатель.